



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В правительственном некрологе отмечалось, что Джон Саакович Киракосян — член ЦК Компартии Армении, депутат Верховного Совета Армянской ССР, министр иностранных дел республики, доктор исторических наук, профессор — скончался на пятьдесят седьмом году жизни. Я думаю, здесь есть одна неточность. Несущественная, правда, но все же неточность. Словом, я невольно задался вопросом: насколько соответствует действительности тот факт, что Джон умер на пятьдесят седьмом году жизни? Пожалуй, по официальным документам — вроде все верно. Родился он 6 мая 1929 года. Умер 20 июня 1985 года. Однако я, может, как никто другой, знаю, что клиническая, если не сказать сама физическая смерть наступила за тринадцать дней до его дня рождения, до того дня, когда ему исполнилось пятьдесят шесть. Последние два месяца Джон жил, что называется, после смерти.

Через некоторое время после кончины Джона у меня появилась жгучая потребность написать книгу о друге. При относительно короткой жизни у этого человека была довольно долгая и длинная... смерть, в процессе которой он сумел совершить подвиг. Именно об этом я написал книгу, которую назвал «Огонь». Название было не случайным, ибо он горел подобно огню, оставив после себя и тепло, и свет. Повесть, по существу, о двух последних месяцах жизни Джона, вышла в журнале на двух языках еще в советское время. Главлит (государственная цензура) дала согласие на публикацию только при условии, если автор поменяет все без исключения имена героев повести. Слишком опасна была тематика работы главного героя — ученого-историка: геноцид армян, младотурки перед судом истории и так далее и тому подобное. И вдруг всем этим занимался при жизни не кто-нибудь, а член ЦК Компартии Армении.

Имена я поменял. Хлопот особых не было с этим вопросом. Все действующие лица были заменены именами своих дедов. Отца Джона звали Сааком Гукасовичем, и Джон автоматически стал Гукасом Сааковичем. И так я поступил почти со всеми героями. У иных поменял лишь какую-нибудь букву в фамилии.

Куда сложнее было с самим текстом. Только в журнале «Гарун» цензура сократила «Огонь» на треть. Повесть вышла в двух номерах журнала со страшными купюрами. А ведь, надо добавить, что действовала моя внутренняя цензура еще в процессе работы над повестью. Уж я-то знал, что, к примеру, бесполезно даже одно лишь упоминание, скажем, имени Гургена Яникяна, который отправил Джону письмо из американской тюрьмы. И выбор адресата был вовсе не случайным. Этот великий патриот отправил свое письмо именно Джону Киракосяну. И перед тем как сегодня впервые обнародовать полный текст этого уникального документа, я хотел бы предварить его несколькими словами о самом авторе письма, адресованного Джону.

Родился Гурген Яникян в 1895 году в Хоторджуре (Западная Армения). Во время армянских погромов 1894–1895 гг. семья Яникянов бежала в Каре, входившем в состав Российской империи (с русской церковью, русской школой и русским кладбищем). Впоследствии Гурген пережил ужасы геноцида армян конца XIX и начала XX веков.

Судьба его мало чем отличалась от жизни многих соотечественников. Обладая огромной тягой к знанию, он учился в Женеве, Нор-Нахичеване, Петербурге, Тифлисе, окончил архитектурные курсы в Московском университете. В Первую мировую войну воевал на Кавказском фронте. Работал в Тифлисе, Иране. Переехал в США, где занимался предпринимательской деятельностью и изобретательством. Долгие годы жил во Фресно (Калифорния). Среди армянских авторов имя его в каталогах крупных библиотек США по количеству литературных и философских трудов стояло на втором месте после Уильяма Сарояна.

На закате жизни Гурген Яникян все чаще ловил себя на том, что, как он писал, «в мире происходит несправедливая несправедливость. Мир продолжает молчать, начисто забыв о том, что произошло с армянами в конце XIX — начале XX века. Мир забыл даже 1915 год, когда Турция, возводя геноцид в ранг своей государственной политики, вырезала более 1,5 миллиона армян и уничтожила более 10 тысяч исторических памятников нашего народа. И я виноват в том, что мир забыл о трагедии целого народа». И армянский беженец, будучи солдатом и философом, находящийся в преклонном возрасте, пришел к окончательному убеждению, что общечеловеческое забвение — это преступление, что нужно пробудить память человечества. А для этого нужна какая-то нервная сшибка. Нельзя допустить, чтобы палач оставался безнаказанным. Гурген считал, что современные турки, наотрез отказывающиеся при-

знать преступления своих отцов, автоматически и по логике вещей сами становятся преступниками. А преступник должен быть наказан. Так, он, опираясь на логику жизни, на логику даже юриспруденции, на свою историческую память, которая является и прокурором, и судьей, и карателем, решил действовать.

В конце 1972 года Гурген посетил Армению в последний раз. Он гостил дома у своего родственника и земляка, тоже хоторджурца, Эдуарда Гулуяна, которому при расставании сказал: «Так жить нельзя. Мне скоро восемьдесят, и я не могу не думать о смерти. Человек должен и после смерти на том свете жить по-человечески. Человек остается человеком благодаря такому Божьему дару, как память, которая должна быть действенной. Если я буду молчать, Бог не простит мне. Скоро, очень скоро услышите обо мне». И добавил туманно-замысловатое: меня судить должен только закон, перед которым единственно я буду виноват. Сегодняшние турки тоже виноваты уже тем, что отрицают геноцид армян. Я был свидетелем геноцида, все происходило на моих глазах.

Эдуард знал, что Яникян привез из Америки для наших музеев, в частности для Матенадарана, несколько национальных реликвий: древние рукописи, картины, в том числе и полотна раннего Сарьяна, миниатюры. Яникян сказал также, что накануне своего отъезда из США он позвонил турецкому консулу, находящемуся в столице Калифорнии Сакраменто, и предложил встретиться, чтобы официально передать Турции те самые исторические реликвии. Объяснил он это тем, что родина его сегодня находится на территории Турции, а не Советской Армении. Турецкий консул обещал, что он свяжется со своим правительством и о результатах сообщит. И вот Гурген отвез все свои уже, можно сказать, музейные экспонаты в Армению.

По возвращении он нажал на кнопку телефонного автоответчика и узнал, что турецкий консул согласен встретиться с ним.

27 января 1973 года Яникян в небольшом ресторане на окраине Санта-Барбары заказал столик на две персоны. Турок пришел не один. С ним был его коллега — дипломат. После нескольких обязательных по такому случаю традиционных фраз Яникян на правах хозяина взял инициативу в свои руки. Его монолог скорее был похож на обвинительную речь. Вскоре раздалось двенадцать выстрелов. Приговор был приведен в исполнение. Два турецких дипломата были убиты на месте. Яникян спокойно подошел к телефону и позвонил в полицию. Двенадцать выстрелов «народного мстителя» (так о Яникяне пишут в энциклопедических изданиях) провозгласили начало нового мощного общеармянского движения.

Семидесятивосьмилетний Гурген Яникян был приговорен к пожизненному заключению.

Мир был потрясен самоотверженной акцией человека, философа и гуманиста, который пошел на такой, казалось, негуманный шаг. Мир вспомнил другого народного мстителя, Согомона Тейлеряна, каздившего в 1921 году одного из организаторов геноцида армян в Османской империи и оправданного германским судом. Мир после долгого молчания заговорил о трагедии армян и задался вопросом: не может же вот так просто без пяти минут восьмидесятилетний интеллигент, находящийся в здравом уме, убить двух человек средь бела дня и сам добровольно сдаться властям. Мир вскоре стал свидетелем того, как армянство пробудилось, словно по тревожному кличу, от совокупного летаргического сна, который медленно, но верно умерщвлял душу и тело целого народа. Эхо яникяновских выстрелов вскоре прозвучало на всех континентах планеты. Мы часто говорили с Джоном о Яникяне.

Осенью 1978 года Джон Киракосян был командирован Министерством иностранных дел СССР в Нью-Йорк, где он проработал более трех месяцев в ООН. Именно в Нью-Йорке, в своем рабочем кабинете в здании ООН, Джон получил письмо из американской тюрьмы Чино от заключенного 6-50399 Гургена Яникяна, который, как и вся армянская диаспора, тогда хорошо знал о беспрецедентной по своей значимости миссии армянского дипломата. О работе Джона Киракосяна, о его выступлениях и интервью писали тогда не только американские газеты.

К письму, адресованному Джону, была приложена цветная фотография старика, одетого в мягкий тюремный халат светло-коричневого цвета. На голове у старца был светлый берет. По возвращении в Ереван Джон множество раз рассказывал о письме, которое так его взволновало. Тогда мы даже не могли мечтать, что полароидный этот снимок можно будет печатать в газетах. Джон это письмо знал наизусть. И сегодня я хочу поместить полный текст письма Яникяна именно здесь, в предисловии к книге о Джоне.

«Нью-Йорк, ООН.

Очень любимый и бесценный господин Джон Киракосян!

Когда я узнал, что один из лучших сынов любимой Родины приедет в Америку для участия в работе международной организации, то очень обрадовался. Камера наполнилась теплотой.

Каждый раз, когда я читал в газетах о достижении нашей любимой Родины, сердце переполнялось гордостью за то, что мир

увидит, каковы устремления сыновей Отечества, которые шагают к вершинам прогресса.

Я не имею возможности достойно приветствовать Вас. И письмо это — вместо добрых пожеланий.

Не удивляйтесь, мне уже 84 года, и состояние моего здоровья вряд ли позволит еще раз увидеть нашу любимую Родину и белую вершину нашего Арарата. Три дня назад (21 октября 1978 года. — З.Б.) я снялся в тюремном дворе. И, если я не увижу Арарата, то пусть мое фото его увидит.

Вложив снимок в конверт, надеюсь, дорогой соотечественник, что Вы не откажете в просьбе одному заключенному — отвезите снимок и покажите ему белую вершину нашего Арарата.

С юных лет решил пожертвовать собой ради любимой Родины. И с желанием этим я сомкну свои веки. Об этом вы еще услышите.

Наилучшие пожелания Вам и через Вас — нашей любимой Родине.

Будьте здоровы, примите мое искреннее уважение!

*Гурген Яникян
24.10.1978 г.»*

Весной 1986 года, возвращаясь после многомесячного путешествия по Америке домой, где я работал над книгой «Дорога», привез с собой в маленьком целлофановом пакетике две щепотки земли, взятые с могил Согомона Тейлеряна и Гургена Яникяна. Вместе с друзьями Джона рано утром у меня дома посмотрел видеокассету, подаренную другом Яникяна Леоном Еркатом из Лос-Анджелеса. Страстное свое слово Гурген Яникян с экрана телевизора обращает народу прямо из тюремной камеры. Находясь под впечатлением увиденного и услышанного, мы поехали на ереванское кладбище к Джону и высыпали на его могилу привезенные из Америки горсточки земли из могил двух великих сынов нашей Родины, которые продолжают жить после их смерти. Тогда и возникла идея книгу Джона назвать «Жизнь после смерти». Однако и здесь воспротивилась цензура. Не сомневаюсь, что как бы я ни камуфлировал имя моего героя, все равно читатель догадается, кто скрывается за вымышленным именем. И сейчас, когда возвращаю моим героям их подлинные имена, решено восстановить и само название книги.

Я часто задаюсь вопросом: как бы повел себя Джон, доведись ему жить сегодня, в наше непростое время. В какую из шлюпок, отколовшихся от общеармянского корабля, он устремился бы?

Уверен, Джон выбрал бы не шлюпку — символ раскола, он выбрал бы флаг — символ единения и причастности к государству.

«Когда знаменосец падает в бою, то знамя не касается земли. Знамя успевают подхватить идущие вслед». Эти слова принадлежат Джону Киракосяну, который, как многие наши знаменосцы, сам продолжает жить после смерти.

АВТОР

Сказаны уже все «обязательные» тосты. Женщины, стараясь никому не мешать, незаметно уносят со стола остатки еды, чтобы так же незаметно подавать десерт и чай. Лишь перед одним человеком остаются лежать успевшие за долгий вечер высохнуть лаваш и плоско нарезанные куски брынзы. Все хорошо знают, что он не может сидеть за столом без этого простого и определенного, как «здравствуйте», натюрморта. Он любит часто повторять: «Лаваш и сыр нельзя не есть». Так он, правда, говорит не только о лаваше и сыре. Но и о красивой девушке — «Такую девушку нельзя не любить», и о ценной исторической книге — «Такую книгу нельзя не читать».

И вот теперь я должен сказать слово о самом этом человеке, который, умирая, совершил подвиг. О Джоне Киракосяне, который выполнил свой долг перед собой и перед будущим. Я знаю о том, что многие люди на этой земле умирали достойно. Умирая, совершали подвиг. И свою публицистическую повесть я посвящаю всем тем, кто, как говорится, умер так, как жил.

И еще: я хочу рассказать о человеке, о котором, используя его же выражение, нельзя не рассказать.

Старожилы уверяли, что такой зимы не было на их веку. Синоптики официально утверждали в печати: подобную долгую и холодную зиму отмечали ровно сто лет назад — в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году. Снег в Ереване в марте! Это так странно и так непривычно! В середине марта Джон выразился иначе. Он сказал, что устал носить пальто. Давит уже на плечи. Так говорил человек богатырского сложения. Можно было только удивляться, что на его восемь пудов веса, на его могучие, покатые, как у морского грузчика, плечи, давят какие-то несчастные два-три килограмма. Не знаю, почему, но я обратил внимание на эту реплику Джона: «Устал носить пальто». И, кажется, догадался, почему он так сказал. Однажды при мне он

выбросил свои часы в окно только потому, что они ввали. Ненавидел любую неточность. Выходил из себя, если кто-то опаздывал к назначенному часу. Сам был до педантичности, даже патологически пунктуальным. Такие же жестокие требования Джон предъявлял даже к... биологическим часам. Если уж пришла весна, должна быть весна, и всё. А тут снег и морозы в марте. «Хамство какое!» Снег, выпавший еще в ноябре, не растаял в марте. Он возмущался, словно обвинял кого-то конкретно. Обвинял саму природу.

И я верил, что он устал носить пальто. Оно давило на его плечи. Природа вносила поправку в его биологические часы, и он противился. Нельзя опаздывать — это неприлично. Надо быть пунктуальным. В том числе и самой природе. Никому не позволял никаких исключений. Правда, Джон Киракосян все-таки признавал некоторые нарушения. Можно быть не пунктуальным только в одном — можно прийти на свидание раньше намеченного часа. Можно спешить, нужно спешить. Спешить жить. И он спешил.

Спешил даже в тот день, когда ранним утром вдруг почувствовал себя плохо. Нельзя сказать, что он был человеком здоровым, хотя часами не выходил из плавательного бассейна. На фоне многолетнего, как сам называл, упорного артериального давления его время от времени одолевал какой-нибудь недуг. Но для других все оставалось незаметным. Ни сильные головные боли, мучившие его при перемене погоды, ни даже боли в ногах не были замечены окружающими. Ведь налицо были атлетизм, здоровый цвет лица, какая-то вечная, словно сараяновская, ирония над собой, над друзьями. И вдруг немощь. Не просто какой-то очередной симптом, к которому можно привыкнуть, как привыкал он к прорве других.

Еще накануне Джон негодовал по поводу своего состояния. «Слабость какая-то, — говорил он. Все мог переносить, кроме слабости. — И дышится не так, и вообще ничего делать не хочется. А я ведь всегда презирал бездельников. И вот уже третий день работаю через силу. Подхожу к столу, беру в руки перо, но кто-то словно тащит меня за рукав. Это страшно». Но в тот день, первого апреля, уже не было мыслей о том, что он не сумеет опять сесть за письменный стол. В тот день в семь утра ему стало очень плохо.

В восемь я узнал, что Джон слег. В восемь десять я уже был у него дома — благо, живем мы рядом. Как-то, переговариваясь через наши балконы, я прикинул: выходило примерно по

прямой метров тридцать пять. У Джона были уже врачи «Скорой помощи», многочисленная родня.

Не раз вызывали к нему «Скорую», но никогда не собиралось столько людей. Никто еще ничего не знал. Давление на самых высоких цифрах. Никакие уколы не помогали. Собственно, так случалось не раз, но никогда не было такой тревоги. Она исходила прежде всего от самого Джона. Он всегда все сравнивал. Это его любимое занятие. Вот и теперь он сравнивал свое состояние с тем, какое бывало у него раньше. Необычно. Непривычно. И самое главное — немощь. Без сомнения, ему нужна госпитализация. Едва уговорили. «Ненавижу больницу, — часто говаривал он. — Особенно смерть в больнице. Умирать надо дома и кончать разом». Так он сказал однажды, когда узнал, что наш общий друг после долгих мучений скончался в больнице. И все же заставили его отправиться в дорогу. Но от носилок он наотрез отказался: «Глупости все это». Настаивали жена, сын, дочь, настаивали врачи — все было тщетно.

Со второго этажа по широкой лестнице Джон спустился сам. Я обратил внимание, что он спешил. Его предупреждали, что надо идти помедленнее, навязывались в помощники, но он ничего не мог с собой поделать. Спешил.

У входа в приемный покой больницы уже ждали друзья. Как они узнали, ума не приложу. Определили Джона в реанимационную палату на пятый этаж. В лифт я его завез на коляске. Тоже пришлось долго уговаривать, и он сдался — как-никак пятый этаж. «Пусть с нами поднимется Лия», — сказал Джон. И с этой минуты жена Лия всегда была при нем.

Часа через полтора, когда Джона осмотрели врачи, сделали назначения, порекомендовав полный покой, я вышел из палаты, спустился вниз. У ворот стояла большая толпа. Все ждали вестей о больном. В который раз я поймал себя на мысли, что тревога стала какой-то осязаемой. И болел Джон вроде не раз, и даже оперировали его, но такого не было. Прямо предчувствие какое-то. Меня окружили. Я рассказал все, что знал. Утром Джон почувствовал себя скверно. Измерили давление — очень высокое. Никого это не должно было удивить. Пятнадцать лет Джон страдал гипертонической болезнью — к этому давно уже все привыкли. Но выяснилось, привыкли и к отношению самого больного к своему недугу. Он не ныл, не выставлял его, принимал гипотензивное средство и отправлялся играть в футбол. А играл он регулярно. И вдруг... слёг.

Толпа густела. Предупредили, чтобы никто не поднимался наверх: отделение все-таки реанимационное. Да и Лии наказали, чтобы она стояла у дверей, как часовой. Но, несмотря на все запреты, люди поднимались к нему. У больницы все время находились сын и дочь, невестка и зять, сестры и племянники, и, конечно, друзья, которых у Джона было ни много, ни мало — полгорода, если не сказать — весь город. Но мне и в голову не приходило осуждать кого-либо, ибо осуждать, значит, прежде всего начинать с самого себя. Хотя звание врача меня просто обязывало находиться в непосредственной близости от друга, которому стало плохо. И все же именно звание врача обязывало думать и о другом. Нужно было, презрев эмоции, сделать все, чтобы беда миновала.

На первом же консилиуме, кроме всего прочего, было предложено направить больного в Москву. В который уж раз я всматривался в лица моих коллег на серьезных консилиумах. Сколько самодовольства, самоуверенности, амбиции... И не дай бог перечить кому-либо. Если кто-то уверял, что молоко бывает и черного цвета, значит, надо этому верить. Ведь он же не говорил, что молоко — черное. Он сказал только, что «бывает». Черт его знает, в жизни всякое бывает. Тогда почему не может быть черным и молоко? Соревновались в софистике врачи, которым суждено было решить судьбу больного.

Но об этом после. Все дело в том, что я, как и все, слишком остро воспринимал саму тревогу. Ведь я тоже хорошо знал Джона. А за последние годы, может, даже лучше, чем кто-либо. Около восьми лет встречались мы триста шестьдесят пять раз в году. Приврал, конечно. Правильнее и точнее — двенадцать месяцев в году. Конечно, мы иногда расставались во время отпусков и командировок. Но и тогда не прекращалась наша связь по телефону. Я знал, над чем он работает в данную минуту. Он знал, над чем работаю я. Когда меня командировали за рубеж, Джон уже знал, что я вернусь оттуда с книгой. И сказал: «Предисловие к твоей книге будет готово». Так и случилось. Я видел собственными глазами трагические дни армянской общины в одной из «горячих точек» планеты. В Ливане писал день и ночь нечто вроде репортажа. Книга вышла сначала на армянском, затем на русском. Ее нельзя было не издать без предисловия, написанного историком.

Когда в 1978 году вышла монография Джона Киракосяна на армянском, мы, как водится, отметили это событие. Джон го-

товился к длительной командировке. И, помнится, скольких трудов мне стоило уговорить его еще до поездки отдать книгу на перевод.

— Нельзя, чтобы такую книгу читали только армянские читатели, — сказал я ему.

— Я понимаю, но сейчас некогда этим заниматься. Вернусь — потом.

— Это на тебя не похоже.

— Ты ошибаешься. Очень даже похоже. Насилую себя, стараюсь быть пунктуальным только потому, что по натуре очень ленив.

— Все мы такие. Матушка-лень раньше нас родилась. Но ведь другого выхода нет.

Незадолго до своего отъезда он отдал книгу на перевод и передал мне статью, которую я ему заказал для «Литературной газеты». Готовилась целая полоса, посвященная столетию присоединения Восточной Армении к России, и главной в ней должна быть статья историка. Мне предложили найти автора, желательно известного человека. Выбор, несомненно, пал на Джона Киракосяна. Когда полоса увидела свет, Джон уже находился далеко от дома, в США. Через Лию я послал номер газеты, и вскоре от него пришло письмо из Нью-Йорка. Приведу несколько строк: «Пошел уже третий месяц, как я нахожусь здесь. Как это ни странно, но гнетет однообразие жизни. Все свободное время отдаю архивам да библиотекам. Набрал ящик материалов против фальсификаторов истории. Не знаю, как такой груз доставлю домой». Доставил.

Именно после длительной зарубежной поездки у Джона будто открылось второе дыхание. Шесть лет подряд он трудился ежедневно с утра до вечера. Я его видел не за письменным столом только в апреле тысяча девятьсот семьдесят девятого. В течение недели он устроил в своем доме две свадьбы. Женил сына Армана и выдал замуж дочь Нуне. Надо было видеть, как веселился отец, как он время от времени в самый разгар танца выкрикивал: «Лия, сорочку!» И Лия не успевала менять ему сорочки. Великан выходил на крохотную площадку, которую едва освободили меж столов, поднимал высоко руки, занимая, казалось, все свободное пространство, делал несколько движений в одну сторону, потом в другую. И вдруг начиналось то, что мог делать только он. Небрежно отдавал команду музыкантам,

чтобы они ускорили ритм. И начиналась знаменитая на весь город джоновская восточная чечетка. Никто даже не видел, как он носками и каблуками касался паркета. В такт ударным инструментам он словно выбивал... музыку из-под паркета. Джон не давал тамаде много говорить — на свадьбе нужно только веселиться, петь и танцевать. И мы веселились. Даже на свадьбах своих детей Джон спешил. Все имеет свой срок. И веселье тоже, только работа бесконечна. Никаких выходных, никаких отпусков, никаких отгулов. Только работа. И на следующий день после свадьбы Джон приступил к статье, которая впоследствии вышла во многих изданиях.

Так уж получилось, что я почти каждый день приходил к нему в те предмайские дни семьдесят девятого, когда он работал над статьей. И каждый день Джон читал вслух две-три страницы, что называется, по горячим следам. Интересовали меня комментарии к той или иной мысли. Я знал, что эти самые комментарии, к великому моему сожалению, до широкого читателя не дойдут. Поэтому вслушивался в каждое слово.

Суть статьи сводилась к следующему. Беженцы из Афганистана нашли пристанище в некоторых странах. Натовская Турция решила принять афганских беженцев. И не просто принять, а перевести их на постоянное жительство в Западную Армению. С этой целью, пишет Джон Киракосян, в Пакистане побывал вице-президент Турции и выступил перед афганцами с рядом антисоветских заявлений. Сразу после этого турецкие газеты написали, что в провинции Эрзрум уже получили право на постоянное жительство шесть тысяч афганских переселенцев, которые должны жить в армянском городе, в армянских селах, домах. Чудовищно! В который уж раз на глазах у всего цивилизованного мира оскверняется сама память человеческая, игнорируется элементарная логика вещей, логика человеческая, логика межнациональных отношений. И Джон пишет: «Осколки западных армян, рассеявшись по миру, лишились права жить на родной земле. Силой отняли дом у его законных хозяев и отдают теперь его фанатичным, темным, отсталым людям, поднявшимся на борьбу против своего законного правительства. Профашистская хунта проводит свою очередную антигуманную акцию, попирающую элементарные международные права. Весь мир хорошо знает, что зарубежные армяне борются за возвращение на родину. Турецкое же правительство пытается игнорировать саму справедливость. Оно бросает

вызов международному общественному мнению, армянам, попирая их священное право иметь родину».

Логика публициста-историка была без промаха. Если турецкие власти представляют цивилизованное государство, то они обязаны соблюдать положения Лозаннского договора о правах так называемых малых наций, ибо под договором есть подписи и представителей Турции. Однако они, не признавая права армян на возвращение на родину, решились переселить беженцев из Афганистана. Джон понимал, что многие его требования считают наивными. Но он был уверен, что никогда нельзя примириться с тем, что ты потерял родину безвозвратно.

Армянские земли принадлежат только армянам, не раз подчеркивал В. И. Ленин. Декретом «О Турецкой Армении» он узаконил «беспрепятственное возвращение беженцев-армян, а также эмигрантов-армян, рассеянных в различных странах, в пределы “Турецкой Армении”». Декрет был подписан уже через два месяца после Октябрьской революции. И Джон приводит, как всегда, источник: Документы внешней политики СССР. М, 1969, т. 1, стр. 75.

К этой статье я еще вернусь не раз. Она была написана, что называется, на одном дыхании и напечатана во многих странах на многих языках. Я даже помню дату ее завершения — пятое мая семьдесят девятого года, накануне пятидесятилетия Джона. Я ему позвонил по телефону, сказал традиционное: «Обнимаю». И по его голосу понял, что он доволен собой. Такое с ним бывало не часто. Но бывало. Я справился, какой фразой он завершил статью? Джон прочитал: «Дурно истолкованная история, если не остеречься, может в конце концов возбудить недоверие и к самой истории».

— **И** надо же было мне заболеть в апреле, — сказал Джон. В первый же день госпитализации в присутствии главного врача, который хлопотал в палате, решая какие-то организационные вопросы.

— Болезнь не выбирает времени года, — заметил главный врач. И когда он хотел было развить тему, я вмешался в разговор.

— Палата слишком маленькая для больного, — сказал я просто для того, чтобы что-то сказать. Хотя и в самом деле для стотридцатикилограммового атлета одноместная палата казалась крохотной конурой.

— Зато сюда никто не прорвется, — заметил главный врач.

Больной, улучив момент, посмотрел на меня, улыбнулся. Дал понять, что догадался, почему я сменил тему разговора. Не место и не время говорить об апреле месяце. Он так ждал апреля 1985 года. У него не выходила из головы цифра «70». Двадцать четвертого апреля вся прогрессивная общественность мира отмечает семьдесят лет со дня чудовищного геноцида армян, организованного османскими и младотурецкими головорезами. К этому дню он решил закончить несколько исследовательских статей и предисловие к русскому изданию капитального двухтомного труда «Младотурки перед судом истории». И как бы он ни спешил, не успел. Не успел сделать того, что запланировал. Он слег за двадцать три дня до двадцать четвертого апреля.

С каждым днем состояние больного все более ухудшалось. Неожиданно сработало то, что Джон всегда презирал, — амбиция профессионалов. Собрались маститые специалисты, многие из которых чаще всего встречаются только на консилиумах. В иное время и в ином месте они вместе не собираются. Многие из них друг друга не признают, годами не здороваются, не звонят друг другу, даже если в этом есть необходимость. Может быть, каждый из них действительно что-то из себя представлял, но вместе они мне напоминали чем-то, да простят меня за нарочитое упрощение, футбольную команду «Арагат» — чем больше «звезд» одновременно выходит на поле, тем хуже играет вся команда в целом.

В истории болезни появлялись все новые и новые диагнозы, синдромы, симптомы. Больной очень страдал от выраженного дискомфорта. Лежать не мог ни минуты. И спал, если мимолетную дремоту можно назвать сном, только сидя в кресле с запрокинутой головой. Джон знал, что к нему никого не пустят. И он, презрев гнетущее настроение и боль в теле, сам выходил в коридор. Целовал родственников в щеку, пожимал руки друзьям, перекидывался то с тем, то с другим двумя-тремя словами и возвращался назад. Ему говорили, что выходить нельзя, вообще нельзя вставать. Джон пожимал плечами, мол, о чем мы говорим, мелочи это все и условности. Людей принимать надо, и он выходит к ним, чтобы они успокоились и разошлись. И дело не в том, чтобы соблюдать кем-то и когда-то установленный для больных режим. Прежде всего необходимо поставить точный диагноз и лечить грамотно, умно, эффективно.

После очередного консилиума сделали пункцию и удалили из плевральной полости более литра крови. Наступило некото-

рое облегчение. Повторили пункцию на следующий день с другой стороны — еще граммов двести. Вроде бы легче стало дышать. Джона очень беспокоило дыхание. Он не знал за всю свою жизнь одышки.

На плавание ходил каждый день, точнее, каждый вечер. Можно сказать, без исключений. Частенько ездили вместе, часами не выходили из воды. Не то что одышки, я не замечал у него ни малейшей усталости. Весь нафаршированный информацией, он и плавая без конца разговаривал. Владея несколькими языками, Джон слушал многие радиостанции мира и, как сам признавался, не мог все разом переварить. Ему необходима была аудитория, чтобы его слушали. Ведь он не просто передавал услышанное накануне, он это комментировал.

Джон сам считал себя профессиональным политическим комментатором тоже. И редко когда отказывался от приглашений посетить заводы, фабрики, отдаленные сельские районы. Не уставал, не задыхался. И вдруг эта одышка — такая неприличная, такая предательская...

На третий день, когда вконец запутались в диагнозах, все чаще раздавались предложения ехать в Москву. И пошла чехарда. Каждый считал своим долгом высказать личное мнение, свою точку зрения. Не активничал лишь один Джон, который не мог представить, чтобы кто-либо решал его вопросы. Однажды, выслушав очередные спорные доводы, где и как его лечить, он сказал: «Несите почту. Я никого не хочу слушать. Я читать хочу».

Принесли почту: много писем и газет. Среди них было письмо из Аргентины. Далекий читатель несколько раз повторял, что хочет поцеловать Киракосяна в лоб за серию статей, которая вышла в журнале «Советакан Айастан». Все честные люди планеты, говорилось в письме, возмущены очередной провокационной акцией Турции против Советского Союза.

После полудня я зашел к Джону вместе с главным врачом, и хозяин палаты, с места в карьер, начал читать вслух письмо аргентинского армянина. Читал, задыхаясь. Я хорошо помнил статью Киракосяна. Она была написана на следующий день после того, как в газетах появилось сообщение, что Турция намеревается построить на своей территории еще десять военных баз, и в придачу к ним — мощные радиостанции на границе.

— Удивительные мы люди, — говорил Киракосян. — Нельзя забывать, что «холодная война» — тоже война. А на войне как на войне. Нужно воевать с противником. Кем бы он ни был: американским империалистом или воинствующим пан-

тюркистом, армянским политическим деятелем, лишенным чувства реальности, натовским авантюристом или исламским фундаменталистом. Воевать надо против всех тех, кто пытается ослабить нашу безопасность. Воевать надо и против собственной наивности и близорукости.

И все-таки больной не очень серьезно воспринимал свой недуг. Такое отношение к диагнозу, точнее, к отсутствию такового, как-то обезоруживало и нас всех. Мы теряли время. Теряли, как говорится, темп. А Джон, находясь в больнице, заводил разговор о чем угодно, только не о своем состоянии. Довольно ловко менял тему разговора. Мы говорили ему об итогах консилиума, он — об игре «Арарата». Мы — о необходимости ехать в Москву, он — что в этом году у нас не будет абрикосов из-за заморозков во время цветения деревьев.

Как-то Джон сказал мне: «Хорошо вам, писателям и журналистам: пишете себе и никогда не задумываетесь над источниками, а тут каждую мысль, если кто-то до тебя ее уже высказал, надо брать в кавычки и указывать адрес. А что и говорить о цитатах из различных книг. История — наука точная. Может, даже поточнее математики». Он был уверен: настоящая история — это высшая математика. Вот почему всем своим существом ненавидел всякого рода фальсификаторов. Непримирым к любой фальши он оставался во всем. Однажды я съехидничал:

— Из-за любви к высшей исторической математике твои коллеги так и не пустят тебя в академики.

— И правильно сделают. Я принесу им много хлопот. Пусть живут спокойно. Да и сам я теперь спокоен. После того как я дважды не прошел, мне стало как-то легче.

— Кокетничаешь.

— Ничего подобного. Зато попал в список, включающий в себя Севака и Шираза.

— Видишь ли, этот список тогда по-настоящему чего-нибудь стоил, если бы в нашей академии нашелся свой Чехов.

В то время я работал над статьей «Читая Чехова» и по памяти рассказал, как великий писатель сам снял с себя звание академика. Правда, Чехов словно это предвидел. В одном из писем он не без иронии заметил, что более всего будет рад, когда утратит это звание после какого-нибудь недоразумения. «А недоразумение произойдет непременно, — писал он, — так как ученые академики очень боятся, что мы их будем шокировать...» Пророчество сбылось. Через два года после этого, правда, не

по недоразумению, а по принципиальным соображениям Антон Павлович написал письмо одному из руководителей Российской академии А. Н. Веселовскому. Это письмо Джон просил показать ему. И на следующий день в палате уже читал его вслух: «Милостивый государь, Александр Николаевич! В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики. А. М. Пешков тогда находился в Крыму, и я не замедлил и первым поздравил его. Затем, немного погодя в газетах было напечатано, что ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст. выборы признаются недействительными». Далее в письме оговаривается, что извещение идет от Академии наук. А раз Чехов состоит почетным членом Академии, то, по логике вещей, извещение это исходит и от него самого. И он не может примирить свою совесть с таким противоречием. С задором читал Джон конец письма: «И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно: почтительнейше просить Вас ходатайствовать о сложении с меня звания почетного академика». Вот таким должен быть настоящий писатель, — с пафосом завершил Джон.

Сароян как-то сказал, что выше Чехова он ставит самого Чехова.

— Я завидую русским. У нас нет своего Чехова.

— В этом отношении русским могут завидовать все народы планеты. Ты послушай, что он пишет брату: «Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и дерзок... Любовные объяснения, измены жен и мужей, вдовьи, сиротские и всякие другие слезы давно уже описаны...»

— Величие Чехова, — сказал наш пациент, — заключается в том, что он знал и чувствовал, как не надо писать.

— И еще в том, что был неповторимым летописцем социальной и исторической жизни своего времени. Исследователи часто приводят мысль одного из современников Чехова: «Если бы Россия каким-то чудом исчезла вдруг с лица земли, то по чеховским рассказам можно было бы восстановить ее до мельчайших подробностей заново».

— Правы оказались те русские ученые, которые выдвинули его в академики. Вообще я считаю логичным, что все академики мира принимают в свои ряды писателей. Ведь настоящая литература — тоже высшая математика. И тем не менее есть литература серая и серые литераторы, против которых нужно бороться, как и против фальсификаторов истории.

— Согласен с тобой. Но ты не прав в одном.

— В чем? — спросил Джон.

— Будто писатели и журналисты пишут преспокойно, не задумываясь над источниками. Никто нас читать не будет, если мы станем высасывать материал из пальца. Каждая моя статья — это диссертация. Бывает, месяцами собираю материал, встречаюсь с десятками специалистов, и все это ради восьми-десяти страниц. Никто, наверно, не знает, что статья просто-напросто не увидит свет, пока я не представлю все источники. Порой перечень доходит до сорока.

— Напрасно ты оправдываешь своих коллег. В конце концов, никто не читает так много периодики, как я. И нередко просто тошнит от публикаций, которые, как ты говоришь, высосаны из пальца. Скажу честно, я не очень обвиняю авторов. Каждый творит так, как он может, как Бог дал. А вот иных редакторов гнать надо в шею. За талантливую и особенно острую, смелую статью хвалить надо не только автора, даже не столько автора, а в наше время особенно — редактора. А вот за серую публикацию винить надо только редактора. Мало ли что могут принести в редакцию.

— Если бы только приносили со стороны, — сказал я, — а то ведь речь зачастую идет о профессионалах, работающих в самой редакции. Их терпят, потому что они вечные.

— Хочешь я тебе подарю тему? Назови ее условно «История вечного Саака», или — «Вечный Саак». Отец мой очень любил сажать деревья. И однажды после того как садоводы вынуждены были рубить свои сады под корень, потому что их обложили страшными налогами, отец сказал: «Все равно предстоящий садовод будет вновь сажать деревья. Министры финансов, плановики, всякие там руководители и чиновники придут и уйдут, а Саак останется. Потому что он не уходит никогда. Он вечный. Если уйдет и Саак тоже, то на земле не останется деревьев».

После того как я бросил практическое врачевание, так уж получилось, что почти никогда не расставался с медициной. Для того чтобы писать, приходилось следить за новинками. Зная, что через каждые пять лет объем медицинских знаний удваивается, старался быть в курсе дел, выписывал бюллетени, которые называются «Экспресс-информацией». Регулярно получал списки новых лекарств и, что тоже важно, перечень препаратов, которые официально сняты с «вооружения». Но и

этого было мало. Никогда не прекращал контактов с коллегами. Дружил и дружу со многими из них. Время от времени с хирургом Павлом Ананикяном выезжал в районы на консультации. Становился с ним за операционный стол. Оперировал в качестве так называемой «второй руки». Словом, всегда был в гуще медицинских событий.

И все же никогда, наверно, так много не думал о медицинских проблемах, волнующих всех нас, как в те дни, когда Джон находился в больнице. Иногда мне казалось, что лучше бы он был не Джоном Киракосяном, а простым смертным и лечился в обыкновенной районной больнице у какого-нибудь старого мудрого врача, который, конечно, прежде всего не страдает амбицией, самомнением, самоуверенностью и такой страшной болезнью, как явное неуважение к мнению своих коллег. Может, тогда не случилось бы того, что случилось. А произошло самое невероятное. Была просто поставлена некая окончательная точка. Мол, только так, и никак иначе. Баста. Цитология показывает атипичные клетки, и всё. Никаких споров быть не может потому, что их не может быть никогда. Диагноз до того страшный, до того роковой, безнадежный, что никто уже не осмеливается говорить о нем вслух. Мало того, решили в первую очередь скрывать его от родных и близких: от жены, сына и дочери. Единственный выход — отвезти в Москву. А там уже более опытные специалисты решат дальнейшую судьбу больного. При этом многие члены консилиума даже не задумывались над тем, что произошло обильное кровоизлияние в плевральную область. Ведь это уже осязаемый симптом.

Я не хочу и далее вдаваться в медицинские подробности. Могу только сказать, что как ни держали отъезд в тайне, в аэропорт приехал чуть ли не весь город. Люди молча стояли группами. Джон попросил остановить машину, вышел из нее. Едва сдерживая слезы волнения и признательности, поднял руки и сказал, что все будет хорошо.

С ним поехали только жена и сестра. Мы, друзья, возвращались в город молча. Словно сговорившись, повернули в ближайшем поселке к загородному ресторанчику. Нужно было не просто снять напряжение, но и выговориться. Каждому из нас хотелось сказать друг другу и себе, что мы не верим в этот дурацкий диагноз, что произошла ошибка.

Так и получилось. В три часа ночи позвонила из Москвы Лия и сказала, что в один миг отменен поставленный диагноз и с помощью компьютерной томографии установлен, правда, не

менее «легкий» — аневризма аорты. Требуется срочная операция. Больной поставил только одно условие — перед операцией увидеть своих детей. Первым делом я бросился к медицинской энциклопедии. Аневризма аорты. А ведь во время консилиума одна из врачей, не отягощенная, правда, никакими учеными степенями, говорила об этом диагнозе. Но никто ее слушать не стал. Пятнадцать лет Джон страдал гипертонией. И все пятнадцать лет вел себя безумно, по-мальчишески, каждую неделю в определенные дни ходил на футбол. Не болеть за футболистов-мальчишек, а играть самому. И играл! Отдавался до конца. И так во всем. Если играл в нарды, то отдавался игре до конца, до предела. Если играл в шахматы, то его ничего уже не занимало вокруг. Всем друзьям надоело предупреждать, что этот дурацкий футбол не приведет к добру. Как-никак возраст, да еще высокое давление. Это все равно, что надувать шарик до предела. Вот так же надувалась и аорта — самый большой артериальный сосуд, который выходит из левого желудочка сердца, чтобы, разветвляясь дальше на мелкие ветви, пронести обогащенную кислородом кровь ко всем органам и системам, ко всем клеткам. И вдруг эта самая аорта, эта самая большая труба расширилась — вместо полутора-двух сантиметров в диаметре стала семь сантиметров. Протяженность расширенного участка около шести сантиметров. Настоящий мяч. А ведь так просто ничто не может расширяться. Только за счет чего-то. За счет утончения стенки, которая состоит из трех слоев, расслоения этих слоев. А раз так, значит нарушается целостность стенки. Значит, она будет пропускать кровь как через марлю. Вот откуда та кровь в плевральной полости. И в случаях, когда дело доходило до такого большого расширения, до расслоения, был только один выход — хирургическое вмешательство. Больной все это хорошо понимал. Он знал, что перед ним стояла альтернатива: или жить в ожидании смерти, которая может наступить в любую секунду, или — операция, которая, известное дело, больших шансов не дает. Джон согласился на операцию. И, как уже говорилось, условие оставалось единственным — увидеть детей.

...Через полчаса после того, как позвонила Лия, я и моя жена направились к Киракосянам домой. Дети, Арман и Нуне, уже знали все. Молча ходили по квартире из угла в угол. Впервые они почувствовали какую-то осязаемую беспомощность. Я взялся за телефон. Надо было среди ночи достать билеты.

Забегая вперед, скажу: когда я смотрел, стоя у подножия трапа, как Арман и Нуне молча поднимаются в самолет, не смог

сдержат слез. Рано утром вернулся домой. Дверь открыла жена и, ничуть не скрывая своего удивления, тихо сказала: «Я была уверена, что ты не оставишь детей одних. Думала, полетишь вместе с ними». И мне стало легче от ее слов. Ведь дома у нас трое маленьких детей, взрослых никого нет. И всегда, когда я уезжаю в командировку, мы стараемся прежде всего вызвать из Карабаха дедушку или бабушку. А тут она сама удивилась, что я не поехал.

Вечером я вылетел в Москву.

В самолете я читал брошюру, выпущенную Академией наук республики «Из истории армянского вопроса». Есть такая серия. Вез я с собой седьмой выпуск. По телефону Лия сообщила мне, что Джон просил срочно привезти ему эту брошюру. Вез и думал: завтра человеку делают опаснейшую операцию, а сегодня он хочет прочитать какую-то брошюру. Правда, беру грех на душу, называя ее «какой-то». Седьмой выпуск серии — это перевод книги профессора Никогайоса Адонца, посвященной историческим корням и этапам развития Армянского вопроса. Предисловие к ней написал профессор Киракосян. В брошюре всего семьдесят четыре страницы. Уже читая предисловие, я почувствовал, как похожи Адонц и Киракосян, который пишет: «Н. Адонц известен читателю своими ценными исследованиями в области истории Древнего мира, Средних веков. Однако, как и каждый гражданин-патриот, он жил судьбами своей родной Армении, ее борьбой за существование, за лучшее будущее. В годы Первой мировой войны наряду с интенсивной научно-исследовательской и преподавательской деятельностью (в 1916 году ему были присуждены степень доктора наук и звание профессора Петербургского университета) он внимательно следил за политической атмосферой вокруг Армении, выступал с публицистическими статьями, в которых благодаря своим глубоким историко-географическим знаниям доказывал всему миру право своего народа на жизнь, на самостоятельное национальное развитие». Показывая на многочисленных примерах политические убеждения Адонца, Джон Киракосян пишет, что мы имеем дело с истинным убежденным приверженцем русской ориентации. И верный своему стилю ученого, он приводит документ. «Не провидением была предсказана приверженность армян к политике России, — пишет Адонц. — Симпатии людей обуславливаются реальными условиями жизни». Адонц писал, что Западу не удастся «преодолеть тягу армян к русскому народу», что «армяне избрали

ориентацию, полностью противоположную западной политике». Одним словом, «они связывают свою судьбу лишь с Россией», и пока существует Россия, «Армения не может отказаться ни от своего прошлого, ни от будущего». Она, возможно, ранена и истекает кровью, но не мертва. Долгом ее политических врачей является исцелить ее раны и болезни и дать ей возможность подняться из пепла к новой жизни».

Сам Киракосян в одной из своих статей пишет, что русская ориентация народа привела к окончательному спасению и возрождению части родины и что «везде и всюду сыны армянского народа, вооруженные знанием исторических фактов и сознанием правоты нашего народа, должны активно защищать интересы своей родины. Любя и защищая Советскую Армению, надо одновременно бороться, чтобы Турция признала права западных армян, армянской диаспоры. Армянский народ имеет право жить на земле своих предков. Армянские земли принадлежат армянам».

Джон Киракосян никогда не кривил душой, не выступал велемечиво, туманно. «Я признаю одного лишь Бога, — часто говорил он, — точнее, одну богиню — Истину». И он верно служил Истине. «Западноевропейские и американские государственные деятели, громогласно вещающие о правах человека, обязаны применить действенные меры, чтобы воздействовать на своего союзника по НАТО и добиться для разбросанного по разным странам мира армянского народа права возвращения на родину».

В самолете я оказался рядом с хирургом Александром Микаеляном. Спросил его: «По какому вопросу в Москву?» «По тому же, что и вы», — ответил он. Мне стало легче, хотя и был удивлен, но вида не подал. Не такие уж близкие отношения были у хирурга Микаеляна с Джоном. Александр уловил мое недоумение. И сам начал: «Вызвало начальство и приказало срочно выехать в Москву, чтобы посмотреть, чем можно помочь Джону. На работе дел невпроворот, но я тотчас согласился лететь. Киракосян есть Киракосян».

Уже через несколько минут после приземления мы с Александром Микаеляном позвонили в постпредство, оповещенное о нашем вылете. Через сорок пять минут мы были в Армянском переулке.

Всякий раз, подъезжая к Армянскому переулку в Москве, я вспоминал Джона. Так уж вышло, что впервые именно с ним я посетил некогда одно из популярных учебных заведений Мос-

квы — бывший Лазаревский институт, который сначала декретом СНК РСФСР в 1919 г. был преобразован в Армянский институт восточных языков, а затем Постановлением ВЦИК РСФСР в 1921 году на базе института был создан Дом культуры Советской Армении. Здесь же расположилось Постоянное представительство Армении в Москве. Помнится, у подхода к зданию, Джон как-то восторженно сообщил мне, что, может, именно по этому маршруту в разное время шли на лекции по востоковедению Пушкин, Тургенев, Толстой. Он знал, что в Лазаревском институте учились не только армяне Микаел Налбандян и Ваан Терян, Александр Мясникян и Александр Спендиарян, а также К. Станиславский.

Хорошо знал Джон все ветви генеалогического древа Лазаревых. И всегда первым называл основателя знаменитого рода Лазаря Назаровича Лазаряна, который в 1747 году переселился из Персии в Россию, в различных городах организовал фабричные производства, занимался торговыми делами. Лазарян, ставший впоследствии Лазаревым, основал армянские школы в Петербурге и Москве, а в 1780 году открыл первую армянскую типографию в Петербурге, которая через несколько лет выпустила первый армяно-русский словарь. Сын Лазаря Лазарева Иван Лазарев унаследовал от отца, как любил повторять Джон, «прогрессивные идеи» и всю свою жизнь носился, говоря словами моего друга, «с идеями об осуществлении своих прогрессивных идей». Так, например, идею о создании полноценного высшего учебного заведения он вынашивал с 1785 года. А основать его удалось после победы над Наполеоном. Двенадцатого мая 1815 года состоялось торжественное открытие института в Армянском переулке.

Разговор о Лазаревском институте возобновлялся впоследствии не раз. Джон часто повторялся, по-видимому, забывая, что он уже в подробностях говорил об истории создания этого учебного заведения, без которого трудно представить армянскую культуру, деятельность армянских революционных демократов, ученых, писателей и публицистов.

В последнее время начались ремонтные, реставрационные работы по восстановлению комплекса зданий в первоначальном виде. И Джон не без гордости всегда хвастался, что знает и никогда не забудет имен зодчих Ивана Матвеевича Подъячего и Тимофея Григорьевича Простакова. Это были прекрасные русские архитекторы из крепостных. Они охотно предложили свои услуги, зная, что основатель рода Лазаревых был одним из пер-

вых промышленников в России, который освободил своих крестьян от крепостной зависимости.

Не раз, помнится, Джон слово в слово повторял весь текст, все шесть пунктов декрета, подписанного Лениным и Бонч-Бруевичем, именуемого «Положением об Армянском институте в Москве (быв. Лазаревский институт)». Но чаще всего цитировал четвертый и пятый пункты: «Все имущество, а также все капиталы, принадлежащие быв. Лазаревскому институту, остаются за Армянским институтом в Москве и находятся в распоряжении Комиссариата по делам армян». «На капиталы Института содержатся и пополняются: 1. армянский музей при институте, 2. фундаментальная библиотека, 3. издаются материалы по истории, армянскому языку и истории литературы Армении». Джон хорошо знал, что Берия своим коварным решением полностью разорил старинный армянский институт, по сути выселив оттуда армян. И сейчас, направляясь к этому дому, я не мог не вспомнить наши беседы об историческом месте, которым так дорожил Джон.

...В кабинете трещали телефоны. Всех интересовало и волновало только одно — здоровье Джона Киракосяна. Хозяин кабинета постпред Армянской ССР в Москве Эдуард Айказян, небольшого роста человек с живыми глазами, не успевал давать информацию. Днем ему сказали: консилиум решил операцию пока не делать. На этом настоял один из самых крупных специалистов в стране по аорте профессор Покровский. Нельзя. Никто не делает таких операций больным, вес которых превышает сто килограммов. А тут все сто тридцать. Вот и решили помочь Джону согнать вес. Иначе нельзя проводить охлаждение. Больной не поместится на специальных подушках, которые охлаждают тело. Но консилиум выразил и другую точку зрения — в любую минуту может случиться беда. Стенка аорты расслоилась, процесс продолжается. Кровь через стенку «трубы», как через марлю, просачивается в грудную полость. Любая нагрузка, любое движение, даже чиханье, и... Словом, предугадать трудно. Уже чудо то, что Джон выдержал полет в самолете, перенес такую огромную нагрузку.

Операция — это большой риск. Оставлять больного без операции — тоже риск. Какой из этих рисков трагичнее — судить трудно. Логика подсказывает — надо все же пойти на риск операции. Здесь есть хоть какой-то, пусть самый малый шанс спасти человека. Говорят, процентов шестьдесят выживают. У американского хирурга Майкла Дебейки, который оперировал

Келдыша, процент этот еще выше. Но Дебейки один и находится очень далеко, и к тому же стар. В свое время мир облетела весть, что у великого мага скальпеля проходит стажировку молодой советский хирург Покровский. Дебейки прочил ему большое будущее. Мало того, в журнале «Америка» фотография двух хирургов предварялась текстом, что у советского врача, по мнению Дебейки, золотые руки. И мы подумали: зачем кидаться из стороны в сторону, когда у нас есть такой специалист? Где же он, Покровский? Александр Микаелян спокойно сказал, что только вчера тот прилетел в Москву. На вопрос — откуда, он так же спокойно ответил, что из... нашего города. Покровский находился у нас, когда там был и Джон, уму непостижимо! Обида сдавила горло. Как же это так. Как же так можно? Уж сколько десятилетий мы твердим о том, что не только медицина является наукой, но наукой является сама организация здравоохранения. Как же можно было не знать, что в Ереване находится такой крупный специалист?! Пусть не очень-то сумели разобраться с диагнозом больного, но наверняка в Ереване были другие больные с болезнями аорты. Можно же было воспользоваться пребыванием Покровского в городе, показать их ему?

Александр взялся за телефон. От жены Покровского он узнал, что хирург давно покинул свою клинику, побывал в Центральной клинической больнице, где, кстати, в очередной раз консультировал «очень тяжелый случай».

Помню, первые слова Покровского, когда он увидел своего коллегу Микаеляна: «Ничего себе — работает разведка». Выслушав нас, Покровский сказал: «Я не могу рисковать. Дело безнадежное. Не надо меня ни о чем спрашивать. Я все равно скажу, что если не оперировать, то дело еще безнадежнее». Такой вот действительно фатализм.

Хирург говорил с нами честно, открыто. Я посмотрел на его руки. Пальцы у него тонкие и длинные, как у скрипача.

— Что бы вы сделали, если бы речь шла о вашем родном брате? — спросил я у Анатолия Покровского.

— Оперировал бы, — последовал ответ, но, не дав нам опомниться, хирург добавил: — Предварительно согнав хотя бы килограммов двадцать-тридцать веса.

— Пока мы с вами здесь говорим, в Кунцево может случиться трагедия?

— Может, — ответил хирург.

— И что тогда?

— Экзитус, — ответил он. — Смерть.

Мороз пробежал по телу. В самом деле, пока мы тут гадаем, может случиться непоправимое. Просто в голове не укладывалось, как страшное и холодное слово смерть можно связать с именем Джона, который обязан жить, как обязан жить разведчик, знающий и умеющий то, чего не знает и не умеет делать никто другой. В таких случаях разведчику приказывают выжить.

— Что же делать? — спросил Айказян.

— Ждать, — спокойно ответил Покровский, для которого Джон Киракосян был очередным пациентом, и пациентом очень «неудобным» из-за своего (от Бога, от природы) могучего телосложения, своих ста тридцати килограммов. — Есть, правда, один выход, скорее, не выход, а условие...

Выяснилось, нельзя приступить к операции, не имея под рукой специального биологического геля — клея, который пока производят только во Франции.

Слишком рыхлой стала расслоившаяся стенка аорты. И каким бы искусным ни был хирург, какую бы ювелирную работу он ни проводил, какими бы узорами ни «вышивал» вышедший из строя сосуд, все равно, как только пойдет кровь (а идет она в этом месте под большим давлением), все разорвется, как рвется в руках ветошь, промокшая папиросная бумага. А гель склеивает слои, превращая их в монолит, словно цементирует стенку. Покровский видел собственными глазами, как применяли его в одной из парижских клиник, и поразился. Он назвал клинику, назвал имя хозяина клиники. Я слушал его слишком, наверное, возбужденно. Где-то в конце темного тоннеля вдруг показался свет. И я, презрев, как сказал бы поэт, «холод ума», выпалил:

— Завтра в это время будет у вас этот самый гель.

Покровский посмотрел на меня с нескрываемым недоверием.

Время предвечернее. Москва спешила с работы домой. Успокаивало только то, что в Париже рабочий день еще не закончился. Значит, не теряя ни минуты, нужно начинать действовать. Это любимый глагол Джона Киракосяна — «действовать». А как он не любил «бездействие», презирал бездельников. Часто повторял: «Под лежачий камень вода не течет». И мы начали действовать.

Связались с Парижем. Я поговорил с собственным корреспондентом «Литературной газеты» во Франции. Связались с Ереваном. Ереван (точнее, первый заместитель председателя Совета министров Армении Алексей Киракосян) — с Пари-

жем. Выяснилось, просьба наша абстрактная. Нет ни рецепта, ни точного развернутого названия препарата. И все же мы поняли друг друга. Помогали такие образы, как «клей, применяемый во время самой операции, цементирует стенку аорты», или он, клей, «затвердевает, как лед, и укрепляет сосуд». В полдень следующего дня нам позвонили сначала из Еревана, а затем — из Парижа. Гель достали. Надо встречать рейс «Париж—Москва». Груз № 1929-5/06. Самолет уже вылетел. Я и сын Джона Арман бросились к машине. Ехали, словно летели. Нам было хорошо. Я то и дело прижимал к себе Армана. Мы очень верили в этот клей. Нам надо доставить его вечером к Покровскому, который недоверчиво усмехнулся, когда ему сказали, что не пройдет и дня, как он получит гель. Мы действительно не ехали, а летели в Шереметьево. И я подумал о Джоне. Я вспомнил наши бесконечные диалоги...

Джон был реалистом и прагматиком до мозга костей. Терпеть не мог демагогов, даже презирал их. Бывало, грубо прекращал диалог с воинствующим демагогом. Сам, до предела подверженный эмоциям, рыдающий от чужого горя, от чужого счастья, он превращался в дотошного сухаря, когда речь шла об истории народа.

— У каждого народа есть свои взлеты и падения. Каждый народ в разное время своей истории бывал либо объектом, либо субъектом в международных отношениях. Это реальный факт. И мы не можем от него отмахнуться. Народ, лишенный государственности, не может быть уже субъектом в международных отношениях. А Армения лишилась своей государственности по своей или не по своей вине — теперь уже не это важно, да и поздно судить об этом. Мы имеем дело со свершившимся фактом.

— И все же, Джон, только честно: по своей вине или не по своей? — спросил я его.

— До причин можно и нужно доискиваться. Но в любом случае проигравший не должен искать и находить лишь героические страницы. Важен результат. Конечно, мы никак не предполагали, что враг может быть столь коварным. Не столько силы не равны, сколько методы ведения борьбы разные. И все же размышления об этом ничего не дают.

— Почему не дают? Мне кажется, урок пойдет впрок, ты будешь знать повадки врага.

— Речь идет ни о боксе, ни о футболе. Речь идет о современных условиях, в которых оказалась та или иная страна. В

конкретном случае речь идет о геополитике тоже. Есть простая, хотя и очень драматичная схема. Некогда Великая Армения (Мец Айк) была разделена между Турцией и Персией. И началось физическое и духовное уничтожение древнего народа. Затем в результате русско-персидской войны часть Восточной Армении вошла в состав Российской империи. А теперь давай будем по нашему принципу оперировать реалиями, свершившимися фактами. Лишь на этой спасенной Россией части была образована Советская Армения — десятая часть Мец Айка. Это вполне ощутимый факт. Это географическая карта. Это флаг, гимн, конституция. Пусть на каменистой площади в двадцать девять тысяч квадратных километров невозможно жить нескольким миллионам человек. Но сегодня другого тебе не дано. А что случилось с Западной Арменией? Из шести миллионов армян, находившихся под игом Турции, там сегодня осталось всего лишь... шестьдесят тысяч человек.

У Джона была феноменальная память. Он приводил целую прорву цитат из различных источников, называл подчас даже страницы. Помнится, однажды я решил проверить. Он ничуть не обиделся. Скорее, наоборот, мое желание подзадорило его. И он начал: «Я буду говорить так, как приводил цитаты в своих монографиях. Например: “К. Маркс в своей статье “Нации в Турции” писал, что турецкая чернь, зараженная мусульманским фанатизмом, мешает вступить Турции на путь прогресса, что она «ревниво отстаивает свое воображаемое превосходство и свою традицию привилегий — совершать безнаказанно эксцессы по отношению к христианам» (том IX, стр. 374). К. Маркс писал о необходимости освобождения «одной из прекраснейших частей нашего континента от господства черни, по сравнению с которой чернь времен Римской империи являлась собранием мудрецов и героев». К. Маркс отмечал, что «природная ненависть турка к «гяуру» несокрушима». Турки считают себя «господствующей расой», а подданных христиан «внутренне презирают как неизмеримо ниже стоящие существа» (том IX, стр. 660)... Я проверял по Марксу или по его книге, а Джон хохотал. Он искренне радовался, глаза его блестели. Все просил еще вопросов. Он даже настаивал. И тогда я усложнял задачу. Брал какую-нибудь книгу, задавал вопрос и просил ответить, с какой страницы взята та или иная цитата. Помню, как с нашим общим другом Размиком Петросяном мы нашли цитату из книги Джона и прочитали ему: «По подсчетам французского профессора Валрана, численность

армян в Турции в начале XIX века достигла пяти миллионов». Джон заулыбался, как-то демонстративно, если не сказать артистично, почесав затылок. Поглядел на потолок, словно там он мог прочесть, на какой именно странице находится эта цитата, и громко произнес: «Шестнадцатая». Мы с Размиком только пожалы плечами, сделали удивленные глаза и заявили, что отказываемся от игры.

У Джона действительно память была какой-то абсолютной, что ли, дагерротипной. И самое удивительное — это то, что он не только хорошо помнил прошлое, но и, как это ни странно, предвидел будущее.

В Шереметьево стремглав побежали к справочной, справились о рейсе «Париж—Москва». Нам сказали, что пять минут назад самолет приземлился. В какую-то долю секунды нас охватило замешательство, даже паника. Тем более когда нам сказали, что самолет через час полетит обратно.

После посещения третьей комнаты нас направили в первую, а хозяин первой комнаты назвал дураком хозяина третьей комнаты. Собственно, все были по-своему правы, все соблюдали инструкцию. И никого нельзя обвинять. Какие-то частные лица посылают через летчиков медицинский препарат, который нигде не зарегистрирован. Вся беда в том, что хозяева многочисленных кабинетов страдают одной ужасной слабостью — они не умеют слушать посетителя. Говоришь им, хотя бы «груз» снимите с борта, пока самолет не полетел обратно. А тебе в ответ, что нужно с письменным прошением пойти в Минздрав, оттуда еще куда-то, а оттуда еще через одну инстанцию прямо в Шереметьево. Маршрут недельки на три. Не меньше. Скажу и о другом. Стоит только выслушать, наконец, что нужно посетителю, как происходит метаморфоза. На твоих глазах меняется лицо собеседника, который еще минуту назад вообще не хотел смотреть в твою сторону. Он вначале робко, а затем энергично хватается за телефон. Нажимает на многочисленные кнопочки мудреных аппаратов.

Я уже понял, что главное сделано. Груз получен. В конце концов, все остальное можно утрясти. Но тревожные мысли червем точили мне мозг. А вдруг именно сейчас случится беда. Показываем хозяину одной из комнат наши документы, растолковываем суть, хотя понимаем, что за нарушение инструкции человек может погореть. Сделает добро, которое ему обернется злом. И в следующий раз уже и впрямь не захочет никого

ни слушать, ни видеть. Есть, правда, выход. На следующий день в девять утра, когда происходит пересменка, положить на стол нужную бумагу из Минздрава СССР. В бумаге должно быть сказано, что ничего «криминального» в этом самом препарате нет. Так нам предложили поступить. Предложили, прекрасно понимая, что выполнить такое невозможно. Сейчас уже семь часов вечера. В идеале только в девять утра следующего дня можно начать вести диалог в Минздраве — это долгая история. А надо было еще доехать до аэропорта. Однако другого выхода не было. Человек тебе доверяет, он готов, нарушив строгие инструкции, отдать тебе «груз», но при одном условии, если в девять утра на его столе будет необходимая бумага. Отпускает груз, ничего взамен не требуя. То есть, можешь человека подвести. Можешь ни завтра утром, ни вечером, вообще никогда не принести никакой бумаги. Подумаешь, бумага. Возможно, гель спасет человека. И это главное. Любая цель оправдывает в таких случаях средства.

И я вспомнил Джона, который ненавидел формулу «цель оправдывает средства». Чего только на грешной земле не приписывали этой самой пресловутой формуле, которой чаще всего пользовались тираны, по-своему истолковывая некоторые идеи Макиавелли. Человек, обманувший чье-либо доверие, не может быть человеком.

Забегая вперед, скажу, что в девять утра нужная бумажка лежала на столе. За ночь мы подняли на ноги человек десять. И скажу по совести, все без исключения понимали нас, разделяя наше беспокойство.

А в семь сорок пять того же вечера позвонили из гостиницы Покровскому. Он не поверил. Сестра Джона отвезла хирургу гель. Это было семнадцатого апреля. Днем кто-то передал Джону, что мы выехали в аэропорт за гелем, и он ждал. Узнав, что препарат у хирурга, он успокоился, ночью спал хорошо. На следующий день консилиум решил подготовить больного к операции.

В полдень после множества процедур Джон, зная, что я рядом, в ординаторской, попросил зайти к нему. У самой двери палаты, как это всегда делалось, медицинская сестра накинула мне на плечи белый халат и едва слышно сказала: «Только немножко. Только чуть-чуть».

Джон сидел на кровати, большой, могучий. Полосатая пижама обтягивала его округлые покатые плечи. Тщательно выбрит. Волосы мокрые.

— Уж не купался ли? — спросил я.

— Не могу иначе. Два дня не помою голову, и мне уже плохо. Ну да ладно. Я только что прочитал твою статью...

— Какую еще? — удивился я.

— Сегодняшнюю.

— Удивительно. Я еще не видел, а ты уже успел.

— Как всегда, — улыбнулся он.

— Как всегда, — в тон ему сказал я.

— Я очень верю, что ты добьешь это самое министерство плодоовощного хозяйства. И вообще, надо решительно поставить вопрос о количестве хозяев на одном клочке земли.

— Уже готовится. А то получается: «У семи нянек дитя без глаза». Думаю, в конечном итоге несколько министерств объединятся, и будет один хозяин. Но ты меня пригласил не для того, чтобы провести реформу в сельском хозяйстве.

— Осталось пять дней до двадцать четвертого апреля. Что делается у нас к семидесятилетию геноцида?

— Джон, кто тебе разрешил мыть голову? Я уверен, даже не посоветовался с врачами. Ты вообще не любишь советовать-ся, — я говорил нарочито сердито, даже повышал голос. Но он, конечно, догадался: я хочу сменить тему разговора. Хотя, признаюсь, как врача меня беспокоило, что он с утра помыл голову. И я продолжал: — Одно дело, когда ты каждый день плавал в бассейне и каждый день принимал душ, другое — мыть лишь голову. Льешь на нее горячую воду, подгоняешь к ней кровь. В бассейне, под душем кровь распределяется равномерно, а тут какая-то нелепая нагрузка. Ты же голову моешь стоя, наклонившись над раковиной. Значит, кровь, которая поднимается к разгоряченной голове, преодолевает заодно и земное притяжение. Ты хоть это понимаешь, профессор?

— Я не могу, если два дня не помою голову.

— Придется потерпеть.

— Ты мне не ответил на вопрос. Что у нас делается?

— А что должно делаться? Миллион человек в Ереване, как всегда, поднимется на священный холм Цицернакаберд. И миллион цветков будет возложено у памятника жертвам геноцида.

— Ты должен полететь в Ереван.

— Я здесь нужен. Вижу, в какой панике твои дети, жена и сестра. Останусь здесь до тех пор, пока ты не встанешь на ноги. Вот это и будет, кстати, мероприятием, как ты говоришь, к семидесятилетию...

— Я очень хочу, чтобы двадцать четвертого апреля от моего имени возложили венок...

— Хорошо, я полечу. Поеду на несколько дней — и обратно. Венок мы организуем. Ты только береги себя. И не вздумай мыть голову.

— Ничего со мной не случится. Не могу же я умереть до двадцать четвертого апреля! И еще: привези договор от Гранта Казаряна на мою монографию. Я люблю потеревить в руках договор. Приятное ощущение, какое-то чувство надежности.

— Будет сделано. Ты только голову не мой под краном...

В Ереван решили лететь вместе с Арманом. Не знаю, почему, но именно в эти тревожные дни я обнаружил поразительное сходство сына с отцом. Раньше этого не замечал. Хоть сын физически очень походил на отца. Такой же мощный, высокий. Но в дни, когда Джон нас так напугал, внушил осязаемый страх перед бедой, я обнаружил другое сходство сына с отцом — внутреннее. Теперь уже не только плечи, походка, лоб, глаза, но даже мысли у них были похожи.

— Над чем ты работаешь, Арман? — спросил я.

— Работа моя сейчас ужасно нудная и скучная. Составляю библиографию литературы по армянскому вопросу на английском и русском языках. Думаю собрать под одну обложку всю мировую библиографию.

— А на русском уже подготовил?

— Да. На днях будет сигнал. Хочу папе показать.

— И сколько источников ты указал в труде?

— Семьсот сорок пять.

— Отец твой любит слово «сверхзадача». Какова сверхзадача работы?

— Мне захотелось составить научно-информационный бюллетень, который представил бы собой более полную библиографию литературы, изданной в России и в Советском Союзе на русском языке за последние сто лет. А сверхзадача заложена в самой цели работы. Цель одна — оказание помощи ученым, занимающимся историей армянского народа, новой и новейшей истории Среднего и Ближнего Востока. Теперь уже ученым не надо будет тратить время на поиски сотен работ. Достаточно взять брошюру, где в алфавитном порядке указаны все необходимые источники.

Арман говорил о том, как турецкие фальсификаторы истории сегодня из кожи лезут, чтобы исказить факты. Владея английским языком, он прочитал все, написанное турками по армянскому вопросу. Печатают они в основном на английском и

печатают, что называется, избирательно. То есть указывают лишь те источники, которые им на руку. Арман обнаружил, что турецкие историки не только ни разу не приводили высказывания Маркса о Турции, но даже обходили англоязычных авторов, которые писали правду. Понятное дело, они не хотели, чтобы мир узнал, к примеру, о таких словах: «...Присутствие турок в Европе представляет собой серьезное препятствие для развития естественных богатств фракийско-иллирийского полуострова... Соперниками славян являются турецкие или арнаутские варвары, давно показавшие себя законными противниками всякого прогресса. Но вот выясняется, что турецкие историки ни слова не пишут о таком крупнейшем исследователе Востока, известном ученом-филологе, ирландце по происхождению, Эмиле Диллоне. И Арман в своей брошюре на основании одних лишь фактов показывает, почему турки делают вид, будто не знают о существовании такого ученого. Арман цитирует отрывок из статьи Диллона «Армения — призыв», в которой приводятся многочисленные документальные свидетельства зверских расправ, чинимых фанатичной мусульманской толпой над беззащитными армянскими жителями: «Мужчину раздели, клещами вырвали из его тела кусок мяса и насмешливо стали предлагать толпе. «Отличное свежее мясо и стоит недорого!» — восклицали некоторые. «Кто купит отменное собачье мясо?» — вторили забавляющиеся зрители. В то время, когда жертва издавала вопли, к ней подошел из толпы человек, который, видимо, только что ограбил лавку, откупорил бутылку не то с уксусом, не то с кислотой и вылил содержимое в зияющую рану. Несчастный взывал к Богу и к людям, чтобы положили конец его мучениям. Но они еще только начинались. Вскоре к отцу подбежали два малолетних сына, старший из которых кричал: «Отец, отец, спаси меня! Посмотри, что они со мной сделали!» По его красивому лицу и шее струилась кровь из раны на голове. Младший брат, которому было около трех лет, играл с деревянной игрушкой. Взглянув на своих детей, умирающий отец на секунду замолчал, и, собрав последние силы, тщетно попытался выхватить кинжал у стоящего рядом турка. Эта попытка явилась сигналом для возобновления его мучений. Истекающего кровью мальчика с неистовством швырнули в объятия умирающего отца, который стал терять силы и сознание, а затем тут же обоих избили до смерти. Младший сын сидел вблизи, деревянная игрушка его вся была залита кровью отца и брата. Вскоре удар ятагана покончил с

кротким созданием мира божьего, и толпа мусульман обратила свои взоры на другие жертвы».

Как ни старались турецкие «историки» скрыть от мировой общественности обличительные документы, ничего у них не выходило. Всегда находились и всегда найдутся исследователи, которые посвящали и будут посвящать свою жизнь поискам бесстрастных улик против «профессиональных варваров», как называли младотурецких головорезов европейские ученые и политики. И одним из таких исследователей является Арман Киракосян, сын Джона Киракосяна.

Окна квартиры Джона выходят на небольшой, но симпатичный скверик, чем-то похожий на кусочек смешанного леса. Здесь и гигантские платаны, и тополя, и невероятной вышины тутовники, и ели, и сосны, и даже густые, опять же высокие, кусты инжира. В центре сквера установлена гранитная плита, обрамленная цветами. На плите написано, что «здесь будет воздвигнут памятник великому армянскому советскому художнику Мартиросу Сарьяну». Место, думается, выбрано не случайно. Чуть поодаль отсюда последние годы жил и творил художник. И там теперь расположился дом-музей, на улице, носящей имя Сарьяна. Каждый вечер, каждый без исключения, мы с Джоном выходили в сквер на прогулку. Иногда собирались до десяти и более человек. В плохую погоду оставались трое-четверо. В дни, когда Джона не было (командировка, отпуск), прогулки продолжались полчаса-час. А с Джоном — не менее трех часов. Сразу после окончания программы «Время» в сквер стекались друзья. И если Джон запаздывал, то чуть ли не каждый считал своим долгом вместо «здравствуй» спросить: «А что, Джона нет еще?», «А где Джон?» Однажды кто-то спросил меня о содержании, что ли, этих вечерне-ночных встреч. Почему-то он был уверен, что ведутся лишь разговоры да сплетни о Ереване и ереванцах, перемываются чьи-то косточки, идут споры вокруг каких-то очередных должностных назначений и перемещений.

Джон был прекрасно информирован обо всем, что творилось в мире. Он был историком, востоковедом, специалистом по проблемам политической арменистики, но никогда не рассматривал армянский вопрос отвлеченно. К нему он подходил комплексно, а не как к проблеме только армянской. Сама геополитика Армении исключала трактовку армянского вопроса как дела узконационального. Он не позволял, чтобы кто-либо именно так его и трактовал. Лишь глобально, только мас-

штабно. Разумеется, разговоры шли в сквере не только вокруг одного вопроса. Футбол, шахматы, тяжелая атлетика — словом, все то, что в данный момент становилось центром внимания общественности, причем и здесь все буквально смотрели Джону в рот. Ибо он не просто говорил о футболе, а знал за месяц, какая команда с какой играет и как сыграли эти же команды, скажем, в прошлом году. Называл фамилии, количество забитых и пропущенных голов. Разбирал чуть ли не все партии юного Гарри Каспарова, которого очень любил. Сравнивал рекорды Серго Амбарцумяна и Юрия Варданяна и поражался.

Гигант Серго, словно пришедший к нам из античности, словно с него Фидий лепил своих гераклов, и миниатюрный скромный курчавый красавчик, которого называли даже не Юрой, а Юриком. И вдруг, в это трудно поверить, оказалось, что Юрик намного сильнее Серго. Правда, Джон в таких случаях непременно комментировал: не Юрик сильнее Серго, а время его сильнее. Словно оправдывал Серго Амбарцумяна, стараясь ничуть не умалить силу Юрия Варданяна. Когда в матче Карпов-Каспаров счет стал «пять-ноль» в пользу Карпова, Джон сказал: «Теперь только все и начинается». Помнится, мы расхохотались. Мол, чему начинаться, если все уже кончилось. Осталось лишь одно очко, и Карпов — вновь чемпион. Джон настаивал на своем. Драма, если не сказать, трагедия впереди. Так считал он. И когда прошла серия бесконечных ничьих, а затем последовали один выигрыш Каспарова, два выигрыша, а затем и три, Джон повеселел. И все подначивал, передразнивал тех, кто в тот вечер при счете «пять-ноль» смеялся громче всех. Он упорно верил в окончательный успех Каспарова. Как-то я спросил его: «На чем основывается твоя вера в Каспарова?» Он ответил: «Ни на чем! Даже не на интуиции. Просто я очень хочу, чтобы победил этот мальчик из Карабаха. А когда я чего-нибудь очень хочу, то это осуществляется».

...В сквере в тот вечер собралось очень много народу. Друзья знали, что я приехал из Москвы, и хотели услышать новости о состоянии Джона. Я рассказывал им все, что и без меня было известно. В самом деле, разве есть какой-нибудь непонятный вопрос там, где все и без того непонятно, туманно. Операция неизбежна. Будет в ней необходимость через месяц, а может сейчас. Среди вечных завсегдатаев сквера был и Размик Петросян, друг детства Джона. Они были детьми одного квартала. Я передал ему просьбу Джона: возложить венок от

его имени к памятнику жертвам геноцида на холме Цицернакаберд двадцать четвертого апреля. Договорились, что в этот траурный для всех честных людей земли день мы, как всегда, поднимемся на холм к памятнику.

Встречались после этого еще три вечера. Утром двадцать третьего апреля я работал над статьей о дважды Герое Советского Союза Нельсоне Степаняне. Это был своеобразный заказ Джона. Месяца за два-три до болезни он встретился с Демилом — единственным из оставшихся в живых четырех братьев Степанянов. Потом весь вечер рассказывал мне, как мало сделано для того, чтобы использовать образ отважного героя в воспитательных целях. В самом деле, единственный дважды Герой из Закавказья, причем вторую звезду Нельсон получил за полгода до гибели. А погиб он геройски, направив свой горящий самолет на вражеский эшелон. Более того, разгоряченно говорил Джон, трое братьев его были фронтовиками. Значит, можно и нужно писать о родителях, и особенно о матери героя. И я взялся за его заказ, окунулся в архивы и сразу почувствовал, что жизнь моя была бы беднее, не познакомься я так близко как с самим героем, так и со всем его родом. Каждый вечер я рассказывал Джону о новых и новых находках. Успел уже опубликовать очерк на армянском языке. Теперь готовилась статья для центральной печати. И Джон очень радовался, что он причастен к моей работе. А когда я собрался в Прибалтику, чтобы под Либавой посетить памятник, установленный на месте гибели Нельсона Степаняна, Джон пошел рано утром провожать меня. Просил, чтобы я сообщил ему о времени возвращения, хотел встретить. Но я не сообщил.

Двадцать третьего апреля рано утром я работал над концовкой очерка «Сыновья». Искал слова матери Юрия Гагарина, которые были сказаны на месте гибели первого космонавта. Я помнил их приблизительно. Наконец, нашел в старой подшивке и решил привести их в конце очерка. Точно такие же слова сказала мать Нельсона Степаняна, посетив место гибели сына. Но очерк я не успел завершить в тот день, хотя редакция торопила — приближался день празднования сорокалетия Великой Победы. В то утро пришла тревожная весть из Москвы: Джона положили на операционный стол. Рано утром он все-таки не вытерпел. Решил... помыть голову под краном, великий упрямец! Характер, как у нас в Карабахе говорят, «кремень». Все-таки ослушался. Помыть голову он так толком и не успел — почувствовал себя плохо.

Двадцать третьего апреля под вечер я уже был в Москве. И через сорок пять минут после приземления сидел в кабинете посла Айказяна. Уже шла операция. Мы не отходили от телефона, ждали информации. Бесперывно звонили из Еревана, из Армении, которая готовилась на следующее утро выйти на проспекты и площади Еревана, чтобы направиться к священной горе, к мемориальному комплексу, сооруженному в память о погибших. Мы молча сидели в кабинете Эдуарда, еще не зная, что перед самой операцией Джон сказал жене Лие и дочери Нуне: «Не падайте духом. Операцию я переживу. Это точно. Не могу же я уйти на тот свет накануне двадцать четвертого апреля».

Мучительно было само ожидание. Казалось, остановилось время. Каждый из нас, словно сговорившись, поглядывал то на часы, то на телефонный аппарат. Каждый звонок тотчас прерывал любой разговор. С нами вместе находился прибывший из Парижа известный врач-аортолог Бернар Андриасян. Он приземлился уже тогда, когда началась операция. Ему задавали бесконечное число вопросов. Больше спрашивали о сроках операции. Разные бывают сроки: не меньше шести, и не больше восьми часов, так как есть свои опасности. Мы знали, что операция началась в четырнадцать часов. Значит, в двадцать или в двадцать один час должны позвонить.

Но не позвонили ни в двадцать, ни в двадцать один. На наши звонки тоже не отвечали. В двадцать два мы уже почти запаниковали.

В двадцать два тридцать позвонил Анатолий Покровский. Трубку поднял Эдуард Айказян. Через минуту мы обнимали и целовали друг друга. Бернар Андриасян уже знал, что в большой толпе, скопившейся в кабинете, лишь двое являются родными Джона — сестра и сын. Остальные были чужие. Более того, все они были из разных мест. Бернар уловил самое важное: Джон Киракосян — не просто друг, товарищ, ставший пациентом центральной клинической больницы. Он — нечто большее. Ведь некоторые из присутствующих, как выяснилось, вообще никогда не видели Джона в глаза. Но и они плакали слезами радости, узнав о том, что операция прошла удачно.

Всю ночь мы провели в гостиничном номере, где остановилась Лия. Говорили много, успокаивали друг друга. Больше всего боялись, что Джон останется на операционном столе. Его перевезли в палату. Это была победа! Я успел за последние дни не просто познакомиться с заведующим реанимационным от-

делением Виктором Петровичем Фоминых, а даже подружиться. Выяснилось, что с Виктором мы окончили институт в один и тот же год и даже, случалось, вместе принимали участие в студенческих спортивных соревнованиях. И это позволило мне обратиться к нему с просьбой разрешить через каждый час звонить в ординаторскую реанимационного отделения. Он согласился. Проблемы в конце концов большой нет. Дежурная служба бодрствует. И я звонил через каждый час. В ординаторской уже привыкли к моему голосу, кроме меня никто не звонил. Так что пришлось оставаться в номере до самого утра.

Все, кто в тот день, бросив свои дела, вылетел в Москву к Джону, были рядом. Ждали утра, чтобы поехать в больницу, узнать хоть что-нибудь о больном, находиться поблизости. В семь утра я отправился к себе в номер, чтобы переодеться, побриться. В половине восьмого горничная просунула под дверь «Правду». Я поднял газету, привычно стал просматривать полосы. Обратил внимание на броский заголовок: «Осужден человечеством». Это было утром двадцать четвертого апреля 1985 года. Прошло ровно семьдесят лет с того самого дня, как был организован первый в двадцатом веке геноцид. «Правда» писала: «Среди кровавых преступлений против человечества... одним из тяжелейших является геноцид... Крупнейшим актом геноцида явилась расправа, учиненная семьдесят лет назад правительством османской Турции над армянским народом. В результате погибло более полутора миллионов ни в чем не повинных людей... Геноцид — это тягчайшее преступление перед человечеством — осужден международным сообществом безотносительно к сроку давности».

Да, не может быть срока давности преступлений перед человечеством. Пройдут века, пройдут тысячелетия — виновники должны быть осуждены. Они должны быть прокляты человечеством, должны быть наказаны все те, кто пытается обелить преступников, кто пытается фальсифицировать историю. Всегда за фальсификацией истории, попытками оправдать преступников шли новые преступления. Это о них, людях с короткой памятью, Максим Горький писал: «Удивительно быстро и ловко забывают факты такого рода господа “гуманисты”, идеалисты, защитники “культуры”, основанной на жадности, зависти, на рабстве и на циничном истреблении народных масс. Ложь и лицемерие защитников этой «культуры» по уши в крови и грязи восходят до явного безумия, до преступления, которому нет достойной кары».

К сожалению, «достойной кары» не последовало. Уже через год после начала геноцида армян в Османской империи С. М. Киров писал: «Турки лелеют чудовищную мечту об истреблении всего армянского населения Турции... Быть может, потом, когда останутся реки человеческой крови, новый Данте нарисует картину страшных мучений миллионов людей». Слова эти нередко цитировал Джон Киракосян. Он часто повторял, что новый Данте в лице великого Ширази «нарисовал страшную картину» и поэму свою так и назвал «Дантеакан» («Дантовская»). Однако Джон хорошо понимал, что кроме гениальной поэзии нужна и бесстрастная, «чернорабочая» история, которая обязана документально показать картину, объяснить факт трагедии. Особенно беспокоило Киракосяна то, что многие, впервые знакомясь с историей событий 1915 года и вообще конца XIX и начала XX века, поражались, почему с такой легкостью и безнаказанно турки сумели осуществить свой зверский замысел? Как ученый-историк, он не раз принимал зарубежных гостей, и всегда они задавали ему этот вопрос-удивление. Всякий раз Джон, обстоятельно отвечая, приводил множество фактов, доказывающих, что турки начали резню вероломно, с санкции правительства. Он понимал, что необходимо написать пространную статью или даже брошюру на эту тему. В последние месяцы перед болезнью он собрал материалы. Каждый раз, когда я приходил к нему, он давал мне читать те или иные документы с указанием на точные источники.

Джон Киракосян доказывал, что как такового сопротивления со стороны армянского населения не было и быть не могло. Одним из первых документов была статья известного французского арменоведа, заведующего кафедрой армянской филологии Сорбоннского университета Жана Пьера Маэ «Истребление народа», который писал: «Пантуранистская идеология проповедовала идею об объявлении “своими” территорий, простирающихся от Турции до Сибири. Армяне представлялись туркам препятствием для осуществления этого плана. Они были инородным телом, которое надо было отсечь от общего пантуранистского целого... Под предлогом того, что армянские добровольцы сражались на стороне русских войск, турецкие власти стали настраивать мусульманское население на насильственные действия против армян. Спустя месяц они приказали разоружить всех солдат-армян и перевести их в рабочие батальоны. Большое число этих армян угонялось в отдаленные места и уничтожалось группами по пятьдесят или по сто человек.

После разоружения и постепенной ликвидации армян, находящихся на службе в армии, власти принудили гражданское население сдать оружие. Затем были арестованы и убиты видные общественные деятели, интеллигенция, священники, что дало возможность перейти к заключительной фазе операции — общему приказу о депортации».

Приведу другой документ. Французский ученый-историк пишет: «Армянские мужчины сражались на фронте, а политические деятели и руководители общин были арестованы. Так что сам геноцид был осуществлен в основном по отношению к женщинам, старикам и детям. Защищать их было некому. Против них выступило Турецкое государство. В беседе с послом США Генри Моргентау организатор геноцида Талаат-паша цинично заявил: “Нас решительно не волнует экономический ущерб”. Варвар имеет в виду ущерб, который будет претерпевать Турция в результате геноцида армян. Он, оказывается, даже дал указание подсчитать этот самый ущерб. “Мы признаем, — сказал далее Талаат в беседе с Моргентау, — эти убытки и считаем, что они не превысят пяти миллионов лир. Нас это не беспокоит. Наше решение непоколебимо, и ничто не сможет его изменить. Мы не желаем больше видеть армян в Анатолии...”» Сохранились фото- и кинодокументы, которые свидетельствуют о том, что в бесконечных колоннах несчастных людей, идущих на истязание и смерть, подчас не было ни одного мужчины. Только женщины, только старики и дети. «Защищать» их поручено было турецким жандармам, которые получили письменный приказ — никого в живых не оставлять. «Не жалеть женщин и особенно женщин беременных». Это тоже был правительственный приказ, государственный приказ. В этих условиях говорить о том, почему народ не защищался, почему он позволил резать себя, как режут кур, значит не знать истории.

Джона часто спрашивали, почему выделили из всех дней геноцида двадцать четвертое апреля. В таких случаях он начинал с того, что таких трагических дней, как 24 апреля, было много, тысячи и тысячи. Затем перечислял имена, которые приводил в своих книгах, имена армянских политических деятелей, врачей, учителей, писателей, поэтов, юристов, журналистов, композиторов, священнослужителей. Все они проходили в одной графе — «Публицисты». Турки именно в этот день двадцать четвертого апреля зверски казнили всех публицистов, которых боялись как огня. Собственно, свой коварный замысел они тоже осуществили как трусы. Они всегда боялись единоборс-

тва. Вот почему прежде разоружили всех военнообязанных. Потом убили всех юношей, всех мужчин и лишь после этого взялись за массовую резню. Вот почему двадцать четвертого апреля они решили обезглавить в исторической Армении ее интеллигенцию. И вот почему сегодня вся прогрессивная общественность мира отмечает этот день как день памяти жертв геноцида. Вот почему в этот день свое слово сказала «Правда», которая еще в год ее рождения в 1912 году в семьдесят шестом номере писала о младотурках: «Отуречивание населяющих Оттоманскую империю славян, армян, евреев и т. д. приняло еще более грубый и настойчивый характер, чем при Абдул Гамиде». И спустя семьдесят лет после осуществления кровавого преступления младотурками «Правда» вновь сказала слово правды, именно в этот день — двадцать четвертого апреля.

В этот день рано утром мы направились в больницу. В одиннадцать был назначен консилиум. Я увидел всех его членов: одиннадцать академиков и профессоров, видных специалистов страны. После осмотра больного, после длительного совещания они решили поговорить с родными. Они не могли сказать ничего такого, что могло бы успокоить их. Но ясно одно: свершилось чудо! Состояние больного соответствовало тяжести операции. В сознание он еще не приходил и долго еще не придет. Больной находился на искусственном дыхании. Все остальные параметры — пульс, артериальное давление, температура — соответствовали тяжести состояния.

Как врач, я имел отдельную беседу с Виктором Фоминых. Узнал подробности, о которых в ту пору не было надобности говорить родным и близким. Например, что охлаждение не применяли: слишком могучего телосложения пациент. Что уже после вскрытия грудной клетки отказались от аппарата искусственного кровообращения: сердце, замурованное в жирную ткань, не работало бы после включения аппарата. Вот почему операция длилась очень долго. Пришлось шунтировать. То есть прежде, чем приступить к самой операции на аорте, надо было перебросить часть крови из одного сосуда в другой, чтобы на протяжении долгих часов не отключать органы малого таза и ноги от кровоснабжения. Клей очень и очень помог делу.

Оставаться в больнице не имело смысла. Да и не разрешали. Шла круглосуточная вахта. Все показатели больного видны на табло. Они регулярно фиксировались. Нас отправили домой, предложив регулярно справляться по телефону. И мы направи-

лись на армянское кладбище в Москве. Там уже собрались, можно сказать, все армяне, проживающие в столице. Такова традиция: двадцать четвертого апреля собираться вместе у армянского храма в Москве. Нас узнавали многие. И все они задавали один и тот же вопрос: «Ну как там?»

...Среди тех, кто справлялся о состоянии здоровья Джона, был философ Андраник Мигранян. Молодой еще человек, стройный, добрые глаза, высокий лоб.

Бледность его лица особо подчеркивала иссиня-черная борода. Андраник вместе с Джоном успел уже опубликовать ряд серьезных работ, в которых разоблачались современные фальсификаторы истории. Я знал, что буквально накануне болезни Джона они завершили обстоятельный труд «Трагедия армянского народа 1915 года в освещении зарубежной политологии». Я обратил внимание на его блестящее владение русским языком. Спросил, где он учился в школе. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Андраник окончил в Ереване армянскую школу. Собеседник добавил: «Это было в ту пору, когда Джон Киракосян в печати действительно ратовал за улучшение преподавания русского языка в армянских школах».

Сейчас передо мной лежит одно из многочисленных выступлений Джона. Это доклад, который он прочитал на каком-то совещании. Я пробегаю глазами страницы, написанные его рукой, и мне слышится голос Джона: «Преподавание русского языка в армянской школе имеет давнюю историю. Первые достоверные источники об обращении армян к русскому языку и о переводе с русского восходят к XVIII веку». Это сохранившийся армянский перевод «Сказания о Борисе и Глебе». Первые пособия по русскому языку для армян были изданы еще во второй половине XVIII века. Такие выдающиеся представители армянского народа, как Арутюн Аламдарян, Хачатур Абовян, Седрак Мандинян, Степанос Назарьянц и другие, были не только прекрасными знатоками и преподавателями русского языка, распространителями русской культуры, но и составителями интересных и очень полезных пособий по русскому языку для армянских учебных заведений». Далее Джон Киракосян рассказывает, как русский язык сегодня в Армении стал вторым родным языком. Приводит цифры. Называет имена энтузиастов. Выражает радость по поводу того, что среди современных советских русистов можно с гордостью назвать таких ученых-армян, как Бархударов, Аванесов, Будагов, Апресян. Я бы добавил, что среди тех, кто прекрасно владел русским, был сам Джон Киракосян, который все свои

труды на русском писал сам. В то же время он никак не мог и не хотел принимать и признавать людей, которые родились и выросли в Армении, но не могли практически двух слов связать на родном языке. И он был прав. Такие люди, как показывает жизнь, и русский знают не ахти как. Джон ратовал за воспитание молодого поколения, которое в равной степени будет владеть не только армянским и русским, но также иностранными языками. Выступая с высоких трибун, он обычно развивал эту тему, которая для него была программной.

Джон очень любил слово «программа». Считал, что без нее никак нельзя. Она должна быть реальной, выполнимой. И непременно должна быть выполнена, будь то школьная, жизненная, национальная, партийная программа. Он только не мог ни признать, ни даже понять суть и смысл словосочетания «продовольственная программа». Собирался писать трактат об этом. И начать хотел с программы о бережном отношении ко времени. Так мы и не осознали, говорил он, что время — высшее богатство нации, государства. Бездельники должны быть уничтожены презрением. Выписывал высказывания классиков. Вот некоторые из них: всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени; время и прилив никогда не ждут; истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем; время уносит все; длинный ряд годов умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу; кто не знает цены времени, тот не рожден для славы; потеря времени тяжелее для того, кто больше знает; самый мудрый тот, кого больше всего раздражает потеря времени; нельзя убивать время, не вредя этим вечности; убивать время — это самоубийство; преступно промедление, если путь великий ждет. Джона Киракосяна ждал путь великий, и знай он сейчас, что убивает все двадцать четыре часа в сутки, пришел бы в ярость, встал бы на ноги, убежал бы из больницы без оглядки. Но он ничего не знал. Он лежал без сознания, не чувствуя своих ног.

Будучи в ясном сознании, чувствуя силу своих ног, я поехал в больницу. Накануне академики и профессора подробно рассказали о состоянии больного. Мне этого показалось мало. Я должен был сам увидеть Джона. Пусть он без сознания, пусть он не чувствует своих ног. Я должен видеть его сегодня — двадцать четвертого апреля.

...Огромный, он лежал на высокой кровати, обрамленной медицинской аппаратурой и оборудованием. Ритмично рабо-

тали меха искусственных легких. На электронном табло зелеными огоньками светились показатели температуры тела, пульса, электрокардиограммы, частоты дыхания, артериального давления. Джон был неподвижен, но от него исходила какая-то сила.

Кровать, на которой лежал больной, представляла для меня и чисто профессиональный интерес. Это не койка в обычном смысле слова. Это и профилактика, и лечение, и массаж, и еще бог весть что. Кровать можно подключить, как подключают телевизор, завести, как заводят автомобиль. Словом, это не просто прямоугольная площадка, на которой лежит человек. Человек словно в космосе, словно в невесомости. Он не чувствует ни своей тяжести, ни тем более давления на свое тело со стороны матраца. Хотя матраца как такового нет. Придумали кровать французы. «Ящик» набит особым тальком, через который проходят специальные токи. Сам тальк похож на несколько раз перемолотую муку. Щепотку потрешь между пальцами, будто протираешь воздух. Но при включенной кровати «матрас» под целлофановой пленкой будто кипит, массирует тело. Кровать с заданной температурой греет больного. Поздно вечером, когда потребовалось перевести Джона на считанные минуты на «простую» койку, я попросил Виктора Фоминых хоть на мгновение позволить мне лечь на включенную кровать.

И я лег. Впечатление такое, будто плавал в воде. В голову даже пришла мысль о скучных законах физики, об Архимеде, например. Действительно невесомость. Но когда я захотел встать, Фоминых предложил продолжить «пробу». Я согласился, тем более в это время сестры с Джоном проводили очередную процедуру. Я лежал, глядя в потолок. Хотел двинуться — ничего не получалось, не было ощущения соприкосновения с кроватью. Захотелось почесать спину — попытки оказались тщетными. Прошла еще минута-другая, и я почувствовал, что лежать здесь — пытка, хотя и сознавал, что в этом «чуде» — единственное спасение больного. Страдания Джона начнутся тогда, когда он придет в сознание. Он, такой нетерпеливый, ненавидящий любой дискомфорт, не сможет долго лежать на подобной кровати. Но он не может и без нее.

Над кроватью, на продольной штанге устроен симпатичный никелированный подъемный кран, с помощью которого больного вновь в считанные секунды положили на электронную кровать. И я каждой своей клеткой ощущал и осознавал, что для моего друга начались поистине муки Христовы.

Джон одновременно работал над несколькими вещами. Статья, книга, очерк, предисловие к книге, брошюра, рецензия. Просматривая их, уже по первым фразам можно догадаться, какую перед собой задачу ставит автор: «У нас нет оснований уходить от ответа на острые вопросы, которые ставит жизнь нашего общества, современное мировое развитие». «В документах Циммервальдской конференции зверская расправа над армянским населением прямо связывалась с преступной империалистической войной». И уже знаешь, по какому конкретному пути поведет тебя автор, к какой конкретной цели, подчас слишком нагромождая цитаты, цифры, даты.

Лейтмотивом всех произведений Киракосяна является раскрытие и разработка темы русско-армянской дружбы. И нигде не встретишь велеречивости, декларативности, а тем более — фарисейства. Если нужна цитата, то в качестве источника он старался привести автора, так сказать, «чужого». «По мнению Дж. Рассела, — писал историк, — Россия является единственной державой, которой надлежит приостановить кровавые злодеяния султанского правительства. Она больше всех подходит для этой роли из-за своего “восточного характера”, из-за своей симпатии к христианским подданным Порты, из-за своего географического положения и из-за своей военной силы. Однако самой России нет уже основания доверять западным державам, ибо она не забыла Крымской войны или же Берлинского конгресса. Запад должен предпринять первый шаг. Должен дать России публичное и обязывающее заверение в том, что никто не добивается этим расширения собственных устремлений».

— Уже не раз, — развивал мысль Рассела Джон, — трезвые умы на Западе приходили к выводу, что все хитросплетения их правительств, обыгрывание геополитической ситуации, в которой находится Армения, так или иначе всегда дорого обошлись армянам. И, натравливая Турцию на Россию, лишь потом понимали, что были «неправы», что нужно извиняться перед Россией.

— Неужели мир не понимал, не понимали те самые трезвые умы, — сказал я, — что в результате хитросплетений правительств погибает у всех на глазах не только один из древнейших народов планеты, но и гибнет изнутри сама Турция, которая тоже становится жертвой их политики. Ведь Запад, как известно, буквально насаждал в Турции звериные начала.

Джон уловил мысль и не спеша начал:

— Видишь ли, Западу нужна именно «дикая» страна. Политиканы знали, что обычно дикие кочевники, захватив цивилизованную страну, непременно приобщатся к культуре аборигенов. А это им было невыгодно. Им нужна черная сила, темная масса. Мой сын в своей брошюре приводит данные, как западные подстрекатели широко использовали женщин-мусульманок для создания напряжения в регионе. Одна из западных газет писала о том, как драгоман посольства России Максимов пытался защитить армянина, которого убивали прямо на улице. Попытка его оказалась тщетной. И он ужаснулся, увидев, как толпа турецких женщин, крича, смеясь и топчя под ногами то, чего не могли унести с собой, грабила маленькую лавку только что убитого ими армянина.

— Думаю, это скорее патологический экстаз.

— Верно, это патология. Делалось это так. Женщин убеждали, что если они убьют с десятков греческих, болгарских, русских или армянских детей, то их собственные отпрыски получат от аллаха все то, что было предназначено для детей неверных. И потерявшие рассудок турецкие мусульманки (Джон никогда не путал ислам и мусульманство с пантюризмом и, как он подчеркивал, и турецким мусульманством), сажали несчастных детей христиан на плот, сами отталкивали его от берега. Дети ничего не понимали, сначала даже не боялись, не плакали. Потом плот переворачивался, и до берега доносился детский вопль... И я всегда жалел не только несчастных детей, но и несчастных мусульманок, которые сами стали жертвой фанатизма цивилизованных политиканов Запада и религиозных фанатиков Востока. Естественно, в такой ситуации единственной спасительницей народов Востока была Россия. Единственной... Вспомним взятие Очакова. Русские не хотели его брать штурмом, предвидя большие жертвы с обеих сторон. Решили взять город осадой. Капудан-паша Гасан уже знал — дело проиграно. Он трусливо отошел на кораблях от Очакова, но перед отплытием собрал всех жителей гарнизона и привел их к присяге на Коране. Суть присяги сводилась к тому, чтобы всем погибнуть с женами и детьми, но крепость не сдавать «пахоподобным». Сам спасся, а толпа во время штурма выполнила приказ пашы. Турки резали своих жен и детей, которых трудно было отбивать у янычар. Многих спасли тогда русские воины. День шестое декабря тысяча семьсот восемьдесят восьмого года выдался суровым, морозным. Всех спасенных приютили, накормили. И даже турецкие историки потом

признались, что на их женщинах были драгоценности, но русские не мародерствовали. Для османцев такое поведение, такая мораль были непонятны.

— Зачем Гасан повелел народу умереть, если твердо знал, что русские возьмут Очаков?

— Тираны всегда в таких случаях убивают своих соотечественников, чтобы не осталось свидетелей их позора, чтобы молодое поколение ничего не узнало о поражении из уст очевидцев. Вспомним, как Борман, удирая в мае сорок пятого из Берлина, дал команду вести бои до последнего солдата. Тут не просто утопающий хватается за соломинку, тут своя фашистская догматика, вобравшая в себя и черты философии османских головорезов. Так что я всегда считал и считаю — жертвой подобной «философии» являлись многие народы, в том числе и трудовой народ Турции. Не может быть свободным и счастливым народ, который проливает кровь, живет в чужом доме, присваивает чужую культуру...

В сознание Джон Киракосян пришел только на шестой день. Уже в первые минуты врачи поняли — больной не выдержит всех страданий. Дышал он через трубку, которая выходила из рта. Питали его через нос с помощью прозрачных трубок. Жидкая пища нагнеталась огромным шприцем Жане. Больной с большим трудом начал поднимать отечные отяжелевшие веки, медленно водил по сторонам набухшими глазными яблоками. Во рту торчала толстенная трубка. Руки были привязаны, чтобы он ненароком не сорвал бесчисленное количество шлангов и электрических проводов. Ноги не двигались. От напряжения и злости глаза больного наполнились кровью. Решили вновь загрузить его снотворным, чтобы на следующий день сделать еще одну операцию — трахеостомию. Воздух из аппарата искусственного дыхания будет попадать в легкие уже не через рот, а через горло, через трахею. Для этого надо вставить трахеостомную трубку в трахею. По крайней мере у больного освободится рот, и можно будет кормить его нормальным способом. Хотя говорить он не сможет. Искусственное дыхание есть искусственное дыхание. Воздух попадает в легкие и выходит из них, минуя голосовые связки. Больной сможет лишь «вхолостую» двигать губами.

И все мы, знавшие его, с мучительной болью смотрели, как беспомощный Джон беспомощно шевелит губами, словно рыба, выброшенная на берег. И это Джон, который всегда был звонкоголосым оратором.

...В тот день дежурил Виктор Фоминых, и я попросил разрешения остаться до ночи в больнице. Редкостной души человек. Такими, наверное, были легендарные земские врачи России. Он сразу уловил и оценил мою просьбу, восприняв ее как предложение коллеги. Отсутствие контакта может превратиться в пытку для Джона. Нужно найти способ общения. На первых порах необходимо, чтобы кто-то находился рядом и попытался расшифровать движение губ больного. Я предложил себя. Фоминых не только согласился, но решил сам принять участие в создании контакта с больным. А дело оказалось на редкость тяжелым. Приходилось говорить десятки слов, чтобы в конечном итоге получить ответ «да» или «нет». Например: «Джон, ты хочешь, чтобы сестра смочила тебе марлей губы?» И если он хочет, то должен был дать знак движением головы или глазами. Бывало, задавали ему до десятка вопросов, а он медленно мотал головой, мол, он говорит о другом. Вот и пойми, чего он хочет. Тут уж надо знать Джона, чтобы хоть приблизительно догадаться. И как-то после долгих мучений я спросил: «Ты хочешь видеть Лию, Армана, Нуне, сестер?» На этот перечень он быстро ответил «нет». Мы понимали, что он не хочет, чтобы близкие видели его в таком состоянии, особенно сын и дочь. Но в то же время он жадно и внимательно слушал, когда я рассказал, что они все находятся в Москве, каждое утро приходят к обходу в больницу, что после кто-то из профессоров выходит к ним и дает необходимую информацию о состоянии больного. Очень заинтересовался, когда я рассказал о скором выходе сигнального экземпляра еще одной брошюры Армана. Потом он долго шевелил губами и злился, что я такой бестолковый и ничего не могу понять. Лишь через пару часов после того, как он несколько раз отключался из-за усталости, я догадался: Джон хочет узнать что-нибудь о Нуне. «Хочешь, позову Нуне?», — спросил я. Он лихорадочно захлопал веками. Казалось, кричал: «Нет! Нет! Нет!»

Накануне исполнилось шесть лет с того дня, как Джон выдал замуж дочь. И последние годы, естественно, ждал внука. Он очень любил Нуне, был привязан к дочери, улыбкой и характером так похожей на отца. Всегда живой и сильный, веселый и могучий, он сотворил в душах и сердцах детей образ этакого былинного богатыря. И теперь ему более всего не хотелось, чтобы именно дочь видела его таким беспомощным и даже жалким. Не раз, потеряв уважаемое им же «чувство трезвости мыслей и языка», он вслух произносил: «Мне бы увидеть хотя

бы одного внука, тогда и помирать не жалко». И сейчас, находясь вдали от дома, внутренне примирившись с мыслью об обреченности, он просто боялся встречи с дочкой. Боялся, что она потом всю жизнь будет страдать при воспоминании об отце, который спасовал перед болезнью.

Джон не просто любил детей, он их по-настоящему уважал. Отец хотел, чтобы дети по тогдашнему велению «моды времени» пошли бы, скажем, в медицинский, юридический. Но дети, воспитанные Джоном, не могли изменить самому духу Джона. Арман решил стать историком, Нуне — биологом.

Часто Джон, говоря о выборе детьми специальностей, переходил на тему о молодежи вообще, о модном ныне слове «профориентация». Его беспокоили многие сложные проблемы молодежи. Конечно, нет ничего страшного в том, что молодые люди хотят стать врачами, юристами, торговыми работниками. Но есть пища для размышлений. Чьи дети в основном норовят стать врачами, юристами, торговыми работниками? Вопрос не праздный. В своем большинстве — это дети так называемых ответственных работников. Джон всегда так и говорил: «Так называемые ответственные работники». И когда я спрашивал, мол, почему «так называемые», он отвечал: «Потому, что на земле все работы — ответственные и соответственно все работники — ответственные: и хлебопек, и министр». В Егвардском клубе он встречался с молодежью. Я присутствовал на той встрече. Примерно час историк говорил о международном положении, а потом отвечал на вопросы. Высокий и очень худой парень с длинной шеей сильно волновался. Говорил путано, но я обратил внимание, что зал относился к парню с явным уважением. Видел, как волнуется за этого парня сам историк. Вопрос примерно выглядел так: «В последнее время многих нарушителей закона прозвали каким-то странным и чем-то безобидным словом «цеховик». С термином я не согласен, а вот суть его меня очень волнует. Дело в том, что эти самые «цеховики» уже представляют собой силу и даже власть. Что вы думаете по этому поводу?»

В зале наступила мертвая тишина. Я сочувствовал Джону. Вопрос заковыристый, сложный и, несмотря на «путаность», очень конкретный. Джон ответил не сразу. На столе перед ним лежало несколько книг с закладками. Он что-то начал искать в одной из них. Сам этот факт весьма красноречив. Джон не предполагал, что ему могут задать подобный вопрос. Судя по всему, он хотел начать ответ с какой-то цитаты, но не мог ее

найти. Наконец, нашел и начал громко читать: «Выдающийся идеолог и организатор национально-освободительной борьбы западных армян Мкртич Портукалян писал, что армянская молодежь, живущая на берегах Босфора, не знает толком, где находится Армения. Если спросить, где эта Армения, то окажется, что они не имеют никакого понятия. Портукалян отмечал, что молодежь знала стихотворения Виктора Гюго, речи Гладстона, а об Армении имела смутное представление».

— А вы знаете, кто были эти молодые люди? — спросил Джон, обращаясь к залу, и тут же продолжил: — Это были, как пишет Портукалян, дети денежной знати, дети амира, так называемых сарафов. Вы знаете, к чему привела такая преступная беспечность этой самой молодежи, которая понятия не имела ни об истории, ни о географии родины. В конечном итоге они потеряли и историю, и географию родины. А амиры и богачи-сарафы — это же цеховики, о которых говорил здесь молодой человек. Я тоже, как и он, не согласен с термином. Кое-кому в обход законов удастся организовать частный цех по производству товаров широкого потребления. Но эти люди, мне кажется, ничуть не страшны. Они хотя бы трудятся, что-то производят. Это каким же надо обладать талантом, чтобы при социализме открыть свой бизнес. Хотя, согласен, за нарушение существующих законов должны нести наказание все, кто их нарушают. Никакая, даже самая благородная цель не может оправдать средства. В конечном итоге, как показывает жизнь, и цель в таких случаях бывает не благородной. Куда страшнее те, кто, не являясь цеховиками-производителями, но обладая номинальной властью, злоупотребляют ею, приобретают «бешеные» деньги. От таких всего можно ожидать. И об этом тоже говорит история. Такие люди в тяжелую годину прежде всего продавали родину, чтобы спасти свои деньги. Но и это не так страшно, так как они сами по себе уже не могут представить сегодня конкретной опасности. Тут следует сказать об их детях, которые, как известно, видят и слышат все и вся. А отец может с пренебрежением говорить об ученом, пахаре, писателе, законе...

Я стараюсь приводить отрывки из выступления Джона, которые записал на пленку. И, признаюсь, трудно передать страсть, с которой он говорил с молодежью, подчеркивая мысль, что разрушенный дом всегда можно восстановить, целину всегда можно поднять, но разрушенные души молодых, их затвердевшие сердца нельзя спасти. И вновь он ссылался на историю, которая давала великое множество примеров.

— Разве не кошунство, — говорил он, — что, дождавшись, наконец, дней, когда есть возможность сделать все для подлинного расцвета родины, мы вдруг терпим заразу, нашедшую у нас питательную среду, которая так легко и так безнаказанно распространяется. Каждый раз мне хочется кричать, когда узнаю, что даже у инвалида берут взятку, чтобы дать ему «Запорожец». Государство специально выделило средства на гуманное дело, а кто-то, часто официальное лицо, вдруг оскверняет сам гуманизм. Или жалобы, я имею в виду так называемые квартирные жалобы. Капиталист, прежде чем построить дом, который он сдаст жильцам, тратит кучу собственных денег. А тут кое-кто, дождавшись, пока государство на свои силы и средства построит дом, получает почему-то ключи и потом безнаказанно продает эти самые квартиры. И уж верх цинизма, когда руководитель при этом похлопывает человека по плечу, мол, это он дает ему квартиру, машину, он, а не государство.

Я не знал другого человека, который так ревностно относился к делам и чести государства.

Мне в гостиницу позвонил Виктор Фоминых. Просил, чтобы я, не говоря ничего родным больного, срочно приехал в больницу.

Я стремглав выскочил из номера и уже через несколько минут мчался на такси в сторону Кунцева. Все гадал, отгоняя прочь мысли, вызывающие тревогу. В голосе заведующего реанимационным отделением, с которым мы уже успели подружиться, была и тревога, и какая-то надежда. Мне подумалось, что врач хочет посоветоваться о чем-то важном. Но в то же время я чувствовал, что случилось неладное, иначе бы Фоминых не сказал, чтобы я ничего не говорил родным, которые находились рядом, в соседнем номере.

По большому асфальтированному двору больницы я уже бежал, едва переводя дыхание.

К счастью, ничего страшного не случилось. Просто вечером больной, придя в ясное сознание, выдал каждой своей клеточкой, как говорил Фоминых, «чудовишный концерт». И вся дежурная служба поняла, что больной дальше не может выносить мучений, которые были впрямь невыносимы. Не может простой смертный, находящийся в полном сознании, долго терпеть то, что выпало на его долю. Психическое, физическое, физиологическое состояние было такое, что только

смерть могла принести ему облегчение. За время своей многолетней врачебной практики я не раз видел, как обреченные жаждут смерти.

Джон очень любил жизнь. Любил солнечный день. Любил сажать деревья, поливать зелень. Любил застолье, обожал очень голодным садиться за стол. Любил петь, особенно старинные армянские песни и мелодии танго тридцатых годов. Любил мечтать. И мечтал о том, чтобы все любили жизнь, солнечный день, любили сажать деревья, поливать зелень. «Нашей нации нужен мажор, — говорил он, — хватит плакать и плакаться. Хватит!!! Одно дело помнить и не забывать, другое — плакать и ныть. Вся литература рыдает, музыка плачет, танцы и те исполняем в миноре». И может, чтобы выразить протест, он, как уже здесь говорилось, танцевал так страстно. Он любил жизнь. И вдруг он захотел смерти?! Но так мне говорил Фоминых. Так говорила палатная сестра.

Наверное, можно смириться с искусственным дыханием, можно примириться с неподвижными ногами, которые не ходят и не будут ходить. Можно внушить себе оптимизм и то, что «невесомость» — это очень даже приятно. Можно привыкнуть к тому, что тебя кормят через стеклянные трубки, в день делают десятки уколов, трижды отсосами чистят бронхи, дважды проводят очистительные клизмы... Ко всему можно привыкнуть. Но ко всему этому вместе, одновременно — невозможно. Человек не железо. Человек есть живое существо.

— Что же будем делать, Виктор Петрович? — спросил я, когда врач подробно рассказал мне о состоянии больного.

— Не знаю. Я вынужден все время глушить его сознание. Как только он полностью приходит в себя — начинается трагедия. Все показатели меняются к худшему. Особенно беспокоит артериальное давление. Выключаю сознание — норма. Приходит в сознание — подскакивает до критических цифр. А это уже опасно. Как-никак у него в груди отрезок искусственной аорты. Хорошо еще применили гель-клей, а то бы аорта давно разорвалась, особенно на стыках. При повышении давления вновь может возникнуть аневризма в нижележащих участках аорты. Прямо беда.

— Нужен психотерапевт, — предложил я.

— Наверное. Но классические методы внушения вряд ли что дадут. Нужна какая-то нервная сшибка, после которой у больного появится сверхцель, ради которой он должен бороться за жизнь осознанно.

— Переведи его на естественное дыхание. Хотя бы для того, чтобы он мог говорить, чтобы существовал контакт.

— Ничего пока не получается. Сразу задыхается, синееет.

— Он же так привыкает к аппарату.

— Описаны случаи, когда дышали с помощью аппарата годами, а потом все восстанавливалось. Просто сейчас я не могу рисковать. Он слишком слабый. В акте дыхания принимает участие в первую очередь грудная клетка, межреберные мышцы, а тут свежая рана. Необходимо время. Так что придется пока на искусственном. Придется общаться с ним по-прежнему на твоём птичьем языке.

— Ничего не поделаешь, — согласился я.

— Чем же «огорошить» больного?

— Сказать, что «Арабат» стал чемпионом страны по футболу, — пошутил я.

— Не годится. Он слишком хорошо знает турнирную таблицу. Да и подобная информация даст эмоции на час. А мне нужно, чтобы он переосмыслил свое состояние, чтобы его захватила большая идея.

— Он весь нашпигован большими идеями.

— Речь идет о конкретных и реальных идеях, осуществление которых будет зависеть от его жизни, а не от смерти.

— Знаешь, Виктор Петрович, есть одна мысль. Я уже говорил, что Джон ждал внука. Третьего дня, именно здесь, в Москве врачи точно установили: дочь его беременна. Мне кажется, с точки зрения и житейской и чисто медицинской, если с Джоном что-то случится, то дочь вряд ли сумеет сохранить беременность. Слишком крохотный срок. Пока эмбрион не превратился в плод — всякое может быть. От сильных переживаний может произойти беда. Игры у нас с Джоном не будет. Мы ему честно обо всем скажем. И он должен знать: если сдаться смерти, значит дочь его не станет матерью. И может, уже никогда не станет. Остается одно — сделать все возможное и невозможное, чтобы жить. Жить хотя бы до тех пор, пока укрепится плод. А это происходит после трех месяцев. Значит минимум около двух месяцев он должен заставить себя жить. За это время укрепится и его здоровье. Словом, он спасет внука, внук спасет его.

— Согласен. Но как это сделать? — спросил Фоминых.

— У нас нет другого выхода. Надо постараться. Другого не дано. Значит, надо.

— Значит, надо.

— Тогда начнем? — спросил я.

— Немедленно, — Фоминых посмотрел на часы, — он уже пришел в сознание.

Фоминых не ошибся. Когда мы вошли в палату, больной лежал с открытыми глазами на высоких подушках. Завидя меня, он зашевелил губами. Но куда там. Никакой телепат, даже легендарный Вольф Мессинг не смог бы его понять. Палата наполнена тревогой и напряжением. В центре ее лежит человек, словно нераскрытая книга. Попробуй прочти. Зная, что Джон мучается и переживает, когда его не понимают, я взял инициативу на себя.

— Вместе с Виктором Петровичем я сегодня ночью в больнице. Решил бросить литературу и вернуться к медицине, которой так безжалостно изменил. Ты меня понял? — спросил я.

Джон слегка улыбнулся, дав понять, что шутка моя принята.

— Давай по-прежнему, ты будешь только глазами или движением головы показывать мне свое согласие или несогласие, свои «да» или «нет». Договорились?

«Да».

— Тебя, наверное, интересует, где находятся сейчас твои родственники, чем они занимаются?

«Да».

— Все в гостинице. А вчера приехали твой племянник и зять. Арман продолжает редактировать русский текст монографии. Ты понял?

Он заморгал глазами. Я понял, что в данном случае ему мало однозначных «да» или «нет». Ему хочется еще что-то добавить, сказать. Надо только догадаться, что. И я спросил:

— Ты хочешь сказать, сумеет ли он отредактировать такую серьезную книгу?

«Да».

— Редактировать будет профессиональный редактор издательства. Арман будет проверять цитаты, сноски, примечания. И не просто проверять, а сверять с оригиналами. Он сумеет это сделать. Ты согласен?

«Да»

— Ты устал. Может, отдохнешь и потом продолжим?

«Нет».

— Виктор Петрович, видишь, он стал болтливым в последнее время, — сказал я, — теперь даже не знаю, как быть. Продолжать беседу или нет?

— Ничего, ничего, продолжай. Не обращай на нас внимания. Мы проверяем показатели. Так что продолжай.

Виктор Фоминых говорил спокойно, нарочито спокойно, словно его ничуть не интересовало то, о чем я «беседую» с больным.

Джон вновь зашевелил губами. Я уже догадался, что он просит продолжить наш «диалог».

— Хорошо. Будем болтать, — сказал я. — Сестры твои — боевые женщины.

Джон улыбнулся.

— А жена утверждает, что за всю жизнь она так много и подолгу не говорила по телефону, как теперь. Звонят отовсюду. Ты понял?

По выражению лица я не мог определить, понял он меня или нет. И продолжил:

— Ты мне не отвечаешь, потому что не знаешь, что ответить. Я правильно говорю?

Джон улыбнулся.

— Короче, Джон, все чувствуют себя хорошо, — сказал я и начал перечислять имена его родственников.

Фоминых все эти имена хорошо знал. Он понял, почему я последним назвал имя зятя и почему пропустил имя дочери. Имя Нуне. Он уже знал, что на мой традиционный вопрос больной не ответит утвердительно. Отец захочет спросить о дочери. Так и случилось.

— Ты понял меня, Джон?

В ответ лишь трепетание припухших губ.

— Ты хочешь что-то спросить? Может, я кого пропустил? А, ну конечно, я не назвал Нуне. Ты хочешь о ней услышать?

«Да».

— Я должен сказать, что она — молодец. Сдала, как ты знаешь, экзамены в аспирантуру. И вообще — умница.

Джон опять зашевелил губами.

— Понимаю, — сказал я, — ты сам знаешь, что она умница и молодец. Я правильно говорю?

«Да».

— Но ты не знаешь самого главного. Три дня назад она и Лия были в институте акушерства и гинекологии, куда ездили не раз.

Я обратил внимание, как Фоминых исподтишка поглядывает на электронное табло. Мигающие огоньки вмиг показали, как растет число сердечных сокращений. Было восемьдесят пять — стало девяносто. Немного погодя — девяносто три. Не было сомнения, что больной волнуется. Вот уже несколько лет

он ждал информации из этого самого института. И вдруг оказывается, дочь вновь ходила туда. Он знал, что я как друг семьи, как врач обо всем осведомлен. И сейчас не мог не видеть, что я как-то особенно радостно сообщаю о визите жены и дочери в московский институт акушерства и гинекологии. Все это продолжалось мгновение.

— Я тебя поздравляю, брат. Ты будешь дедом.

Я не успел спросить, понял он меня или нет. Пульс подскочил до ста. Фоминых подошел к больному, повозился в многочисленных проводах, отходящих от кровати. Незаметно для Джона дал мне знать, чтобы я продолжал. Пульс начал падать: девяносто девять, девяносто восемь... На лице Джона появилась улыбка, которая уже не сходила, как это обычно бывало.

— Ты наверное, хочешь спросить о сроке беременности?

«Да».

— Чуть больше месяца. Очень маленький срок. И очень опасно. Сейчас, если хочешь знать, многое зависит от тебя. Ты меня понял?

«Нет».

— Ты хорошо знаешь, какая тонкая натура Нуне, твоя Ночка. И знаешь, как она тебя любит. Она сейчас очень переживает, очень страдает. Мы ее не пускаем к тебе, стараемся беречь ее сердце и душу. Ты понимаешь, о чем я говорю?

«Да».

— Если ты не выдержишь, то не выдержит и она. Не сумеет сохранить беременность. Прости меня за натурализм, но в первые три месяца, пока эмбрион не стал плодом, все очень шатко, очень хрупко. Это очень опасная пора. Ты меня понял?

«Да».

— А ты тут устраиваешь концерты. Жить не хочешь. Прямо ребенок какой. Ты не согласен со мной?

Он зашевелил губами.

— Значит, ты не согласен. Я понимаю, что очень тяжело, но другого выхода нет. Терпеть. Тут Виктор Петрович всю отечественную медицину поднял на ноги. Все делается для того, чтобы вывести тебя из этого состояния. Нельзя забывать о главном: операция прошла удачно. В твоей груди работает искусственная аорта. Уже почти неделю все идет нормально. Остается только терпеть. Ты понимаешь меня?

Джон глазами показал, что он хорошо меня понимает, но я догадался, что он хочет о чем-то спросить.

— Ты хочешь что-то сказать?

«Нет».

— О ком-то спросить?

«Да».

— О сыне?

«Нет».

— О жене?

«Нет».

— О дочери?

Он не сказал свое обычное «да» кивком головы или закрывая веки. Он весь словно задержался, словно кричал «да, да, да!».

— Ты хочешь, чтобы я еще раз сказал, что она ждет ребенка?

Ответ был неопределенный.

— Ты хочешь узнать, сколько времени нужно, чтобы опасность миновала?

«Да».

— Лучше, конечно, до самого рождения.

Он сделал гримасу. Я догадался, что он хочет серьезного разговора о реальных вещах. И добавил:

— Я тебе уже говорил. Минимум два месяца требуется, чтобы плод укрепился. Ты понял?

«Да».

— Но ты что-то хочешь спросить?

«Да».

— Если о здоровье Нуне, то все хорошо. Если опять о сроках, то я должен твердо повторить: минимум еще два месяца. Пойми, если ты ради дочери протянешь два месяца, то тем самым спасешь и себя. За два месяца и у тебя все наладится.

Я видел по его глазам, что он очень и очень хочет выяснить для себя что-то важное. Не доверяя интуиции, я стал рассчитывать и высчитывать. Несколько раз он справлялся о сроках, о том, когда может миновать опасность. Значит, возможно, он хочет узнать день, когда пройдут эти два месяца. И я спросил:

— Ты хочешь узнать о том, когда конкретно можно быть спокойным за Нуне?

Бог мой, что тут началось! У меня было такое впечатление, что он даже ноги приподнял. Он улыбался, кивал головой, открывал и закрывал глаза. Он говорил очень громко, только не мог заглушить мерный шум ритмично работающего аппарата искусственного дыхания.

— Ну, посчитай сам, — сказал я, стараясь быть спокойным, — сейчас конец апреля. Мы, врачи, сроки беременности считаем в неделях. Сейчас примерно шесть недель. Первые двенадцать недель самые опасные. Значит еще шесть-семь недель. Это примерно двадцатое июня. Ты понял меня?

«Да».

— Давай, отдыхай, — сказал я.

— Верно, нужно отдыхать, — поддержал меня Фоминых. Больной вновь зашевелил губами.

— Отдыхайте, Джон Саакович, — сказал Фоминых, — я тут не понял, о чем вы говорили с коллегой, был занят своими делами. Но пора и честь знать. Отдыхать надо. Мы всю ночь будем здесь. Поговорим еще.

Джон упорно двигал губами. Он смотрел на меня и «говорил» мне что-то очень важное, как ему казалось. Я, кажется, догадывался. И перед тем как выйти из палаты сказал:

— Ты хочешь заверить нас, что до двадцатого июня выдержишь?

«Да».

И он расслабился. Закрыв глаза. Лицо его было спокойное.

В небольшом и строгом кабинете заведующего реанимационным и анестезиологическим отделением мы молча пили чай. Виктор Фоминых минут через десять нарушил молчание. Он предложил, чтобы я позвонил в гостиницу. Знал, с какой тревогой там ждут вестей. Телефон взяла Лия. Я сказал, что все идет нормально, показатели, как любили говаривать сотрудники отделения, соответствуют состоянию больного. Лия уловила сухость, с которой я давал информацию, и то и дело повторяла, что я что-то скрываю. Я ее успокаивал. Мужественная женщина с первого дня болезни мужа превратилась в комок нервов, почти не спала. Для всех нас Джон Киракосян был Джоном Киракосяном, для нее — мужем и Богом, отцом ее детей. Мне стало неловко, что я от нее скрываю суть и смысл нашего диалога. Но я ничего не мог говорить. Сам слишком был подавлен. Выходя из палаты, я чувствовал на затылке взгляд Джона. Видел, что глаза он закрыл, но все равно чувствовал, что он смотрел мне в спину. Может, он хотел крикнуть, позвать меня? Может, он и сейчас зовет?

И как только я положил трубку, попросил Виктора вновь навестить больного.

— Что случилось? — спросил Фоминых.

- Не знаю. Тяжесть на душе. Мне кажется, он зовет меня.
- Сейчас мы узнаем, что он делает, — сказал Виктор и стал набирать по внутреннему телефону номер палаты. Строго сказал: — Светлана, как там он? — Выслушав, передал ее слова: — Спит. Минут пять назад ему дали пить. Сейчас спит.
- Мне кажется, Виктор, после нашей так называемой беседы он немного успокоился, но я сплоховал. Какой-то нервный шок. Создалось впечатление, что он уже считает себя мертвым, просто сейчас решил сделать нам одолжение.
- Я все время боюсь его рук. Сейчас он ими двигает довольно резко. Как бы не сорвал трубки и провода. Сестры предупреждены, но все же... Двадцать лет веду подобных больных, а такого не доводилось видеть. Мучения и впрямь, как ты верно сказал, Христовы. Их невозможно вынести.
- Джон будет жить. По крайней мере, до двадцатого июня, я ручаюсь.
- Давай поговорим о чем-нибудь другом, только не о медицине, которая, к несчастью, так беспомощна по отношению к Джону.
- Не кокетничай, Виктор Петрович. Я все ловлю себя на том, что присутствую при сотворении подвига. Оставить Джона хоть одну минуту без внимания — и беды не миновать. Согласен со мной?
- Я-то согласен, но что толку от этого. Надо думать о прогнозе. Между прочим, если уж говорить о подвиге, то прежде всего надо сказать о самом больном, о его организме. Фантастическая сопротивляемость. Напрасно его вообще лечили от сердечных недугов. Сердце у него — стальной мотор. Иначе он вообще остался бы на столе. Легкие — как кузнечные меха. Он похож на спортсмена.
- Он и есть действующий спортсмен.
- Аорта сдала, думаю, именно потому, что он продолжал быть действующим спортсменом.
- Об этом мы уже говорили.
- Я не хочу повторяться, — продолжал Фоминых, — я хочу сказать, что здесь не было изначального рока, фатализма. Этот человек мог и должен был жить еще долго. Живут же с высоким давлением прорву лет. А тут — детский возраст. Сколько ему лет?
- Шестого мая исполнится пятьдесят шесть.
- Значит, через неделю.
- Сейчас уже час ночи, первое мая. Так что осталось до дня рождения пять дней.

Раздался телефонный звонок. Фоминых взял трубку. Зная, что звонит сестра, он не приложил трубку к уху, а держал так, чтобы я тоже слышал. Палатная сестра сообщила: «Виктор Петрович! Больной проснулся. Он что-то хочет сказать, никак не пойму».

И мы спешно направились в палату.

Когда Джона отправляли в Москву на лечение, он не знал, что так скоро окажется на операционном столе, хотя не сомневался в продолжительности лечения. И не случайно велел взять с собой, как любил говорить, чтиво — книги, брошюры, собственные рукописи. Он и работал одновременно над несколькими вещами, также и читал несколько вещей сразу. Днем читал одно, вечером — другое, перед сном — третье. Просматривая книги, которые читал Джон, невольно думаешь о строгой школьной учительнице, которая непременно наказала бы его за их порчу: что ни страница, то сплошные карандашные пометки.

Сейчас у меня в руках книга, которую он читал в последние дни перед операцией. Аурелио Печчеи «Человеческие качества». Книгу подарил ему его давнишний друг Алексан Киракосян, который наравне с женой и детьми Джона разделял страдания больного. Я читаю подчеркнутые строки: «Мой отец научил меня двум самым важным в жизни вещам: как быть человеком и как жить свободным человеком». На другой странице: «Десятки миллионов лет влажные тропические леса пребывали в состоянии устойчивого равновесия. Сейчас их уничтожают со скоростью 20 гектаров в минуту. Если так пойдет и дальше, то уже через три-четыре десятилетия они окончательно исчезнут с лица земли — раньше, чем иссякнет нефть в последних скважинах, но с куда более опасными для человека последствиями». На третьей странице: «Проблемы демографии, безработица, неполное использование социальных и экономических возможностей общества, дефицит и нерациональное управление ресурсами, неэффективность принимаемых мер, инфляция, отсутствие безопасности и гонка вооружений, загрязнение среды и разрушение биосферы, заметное уже сегодня воздействие человека на климат и множество других проблем, сцепившись друг с другом, подобно щупальцам гигантского спрута, опутали всю планету. Опасность столь велика и реальна, что отвести ее и как-то выправить сложившееся положение можно за счет совместных, координированных

усилий всех стран и народов». И рядом на полях Джон вывел размашисто: «Парадокс, во всем виновата и сама... цивилизация». И через несколько страниц на полях несколько восклицательных знаков. Джон, судя по всему, был рад и возбужден от сознания, что автор разделяет его точку зрения: «Современная цивилизация многим принесла процветание, но она не освободила человека от алчности, которая совершенно несовместима с открывшимся перед ним огромными возможностями. Оставшиеся ему в наследство от времен бедности эгоизм, узость мышления продолжали довлеть над ним, заставляя без конца извлекать материальные выгоды практически из всех тех разительных изменений, которые он сам вносил в свою жизнь. Так человек постепенно превращался в гротескного, одномерного Хомо экономикус. К сожалению, от этого изобилия выиграли в основном лишь определенные слои общества, и их не очень-то волновало, какой ценой заплатят за их благополучие другие, уже живущие или еще не родившиеся жители планеты».

Пришлась по душе Джону еще одна мысль. Он рядом написал: «Как это верно» и трижды подчеркнул. Мысль касалась работы над книгой. «Кстати, не кто иной, как Уинстон Черчилль, считал работу над книгой сушей пыткой. Он сравнивал ее с любовным приключением. “Вначале, — говорил он, — все это выглядит как мимолетное влечение. Потом она становится любовницей, затем постепенно превращается в госпожу, а вслед за тем и в тирана. В конце концов на последней стадии вы уже почти готовы смириться с этим рабством, но вдруг находите в себе силы, убиваете чудовище и бросаете его к ногам публики”. Именно это я и собираюсь сейчас сделать, теща себя, как и все авторы, надеждой, что мне удастся задеть струны в душах читателей».

— Человек в свое удовольствие читает только в школьные и институтские годы, — любил повторять Джон, — после он уже работает. Работает, даже когда читает. К сожалению, многие книги куда-то запропастились. Был у меня, например, толстенный том Макиавелли. Читал и чувствовал, как взрослою, хотелось спорить с человеком, которому пятьсот лет, хотя мне самому исполнилось пятнадцать. И от самого желания мне делалось хорошо. Потом я потерял книгу. И с тех пор только помню, что я подолгу спорил с Макиавелли, хотя напрочь забыл о самом предмете спора. Наверное, спорил о «цели и средствах...»

Как-то мне повезло, и я достал в Москве сразу два экземпляра нового издания Макиавелли «Избранные сочинения». Одну книгу привез Джону. И вот теперь она находится в центральной клинической больнице. Я ее перелистываю. Вся она испещрена линиями, пометками. «Римляне, предвидя беду заранее, тотчас принимали меры, а не бездействовали из опасения вызвать войну, ибо знали, что войны нельзя избежать, можно лишь оттянуть ее — к выгоде противника. Потому они решились на войну с Филиппом и Антиохом на территории Греции, чтобы потом не пришлось воевать с ними в Италии. В то время еще была возможность избежать войны как с тем, так и с другим, но они этого не пожелали. Римлянам не по душе была поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов: полагайтесь на благодетельное время, — они считали благодетельными лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло».

Читая подчеркнутые места, я вспоминал, как, находясь под впечатлением «Государя» Макиавелли, Джон считал, что некоторые советы могут быть опасны для иного государя. «Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел кого нужно обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность». Подчас советы Макиавелли государю вызывали у Джона ужас. Я вспомнил об этом, когда прочитал подчеркнутые слова вступительной статьи к книге: «Опираясь на свой богатый жизненный и политический опыт, Макиавелли дает совет государю — всегда вернее внушить страх, чем быть любимым, ибо большинство людей неблагодарны, изменчивы, лицемерны, трусливы перед опасностью, жадны до наживы. Пока им делают добро, они выказывают свое расположение, но как только подвернется случай, они рады предать своего благодетеля и даже уничтожить его». И рядом запись Джона: «И все-таки лучше быть любимым, нежели внушать страх людям — детям, женщинам, старикам, а не только службистам». Есть другая запись на полях: «Ай да Никколо! В точку попал». Это касалось подчеркнутых строк: «Люди же по натуре своей таковы, что не меньше привязываются к тем, кому сделали добро сами, чем к тем, кто сделал добро им».

Книги и папку с рукописями передала мне палатная сестра. Страницы не пронумерованы. Это были выписанные от руки цитаты с указанием источников. Джон должен был куда-то их вставить или сверить. На первой странице, попавшей мне в руки, было написано в самом углу в скобках: «80, № 3, 1877-78, стр. 360-361». Внизу текст: «При непрерывном расширении, утверждали “Северный вестник” и “Голос”, моральные добродетели русской нации слабеют и иссякают; необходимо сосредоточить эти силы для внутреннего развития страны. Чем меньше азиатчины и тюркизма останется в нас, тем счастливее для нас».

На каждой странице была одна цитата. Иногда — всего лишь одна строчка. «Самая трудная профессия — быть человеком». «Мы живем в такое время, когда ценность представляет только борющийся человек». «Труд часто является отцом удовольствия». «Работа — мое первое наслаждение». «Желание — отец мысли». «Энергия — вот вечное наслаждение». И на каждой из этих страниц указан источник, автор, издание, страница.

Я читал, и мне казалось, что слова эти принадлежат самому Джону. И не потому, что он не раз говорил о трудолюбии, об энергии. Я слышал много убийственных слов, направленных против бездельников, равнодушных, дезертиров, трусов, людей, не умеющих ни жить, ни умирать. Сам он умел жить. И теперь мы были свидетелями того, как он умел умирать. Слово имел опыт. Поистине, тысячу раз был прав великий армянский писатель и публицист святой Егише, сказавший из глубины полутора тысячелетий, что осознанная смерть — бессмертие. Но Джон, я глубоко уверен, не думал о бессмертии. Он думал о самом что ни на есть земном: о своей дочери, внуке, не подозревая, что рождение внука — это и есть осязаемое бессмертие человека. На смертном одре, лишенный всяческой возможности движения, лишенный собственного дыхания, он оставался энергичным, работающим, борющимся человеком. Оставался Джоном Киракосяном.

Среди ночи позвонил в гостиницу мой друг Владимир Бонч-Бруевич, который каждый день интересовался состоянием больного. Володя хорошо знал Джона и в Москве сделал все возможное, чтобы оказать посильную помощь. Настоял даже, чтобы один из выходных дней, когда никого не пускают в больницу, родные провели у него на даче. «Пусть немного развеют-

ся, отдохнут», — сказал он. Так и сделали. Весь день мы были у Бонч-Бруевича на даче в Барвихе и оттуда позванивали в больницу. Честно говоря, его столь поздний звонок меня удивил.

Оказалось, что рано утром он куда-то выезжает и посчитал своим долгом сообщить, что в Калуге скончался отец нашего общего друга Аркадия Петровича Удальцова. «Я подумал, может, пошлешь телеграмму», — сказал Володя. Я попросил у него адрес и на всякий случай калужский телефон.

Утром после нашего привычного визита в больницу я отправился на Киевский вокзал и через час уже сидел в электричке, которая везла меня в Калугу. Дед мой говорил: на свадьбу можно не успеть, на чей-нибудь юбилей можно не успеть, но на похороны нужно успеть. Я успел на похороны отца моего друга. И, возвращаясь поздно вечером в Москву, ловил себя на мысли, что все время думаю о моем деде, который живет во мне и, хочется верить, будет еще жить в моих детях. Конечно, и без меня предали бы мудрого человека, Петра Удальцева, земле. Я невольно вспоминал каменистую землю Армении, где подчас, чтобы вырыть могилу, приходится взрывать скальную породу. Но мне было спокойно на душе от сознания того, что в тяжкую для друга минуту я нахожусь рядом с ним. Совсем рядом.

К полуночи я уже был в гостинице и, конечно, прежде зашел к Лие. Почему-то тот миг, когда я увидел ее в окружении родных и близких, мне очень запомнился. Словно насадка с прорвой цыплят, которые норовят, толкаясь, прижаться к матери. Увидя меня, Лия улыбнулась. Я подумал, что давно не видел улыбки на добром и красивом лице этой женщины, которая никак не может примириться со своей беспомощностью, безысходностью. За Джоном она всю жизнь была как за каменной стеной. А теперь почувствовала, как стена рушится. И готова была уже сама стать стеной.

Я позвонил Виктору Фоминых. Температура Джона за день подскочила. Родным он сказал, что она держится на уровне тридцати восьми, а мне сообщил правду, предварительно предупредив, чтобы я не выдал себя. Тридцать девять и пять...

Час от часу не легче.

Высокая температура — это целая батарея новых лекарств, это дополнительные нагрузки на организм, бессознательное состояние больного. У него и так еще не прошел отек мозга после операции и чудовищного наркоза. А тут без четырех дней пятьдесят шесть лет и вдруг температура под сорок!

Температура не понизилась и на другой день. Снова консилиум за консилиумом, советы за советами, рекомендации за рекомендациями. Через каждые полдня кровь на посев, чтобы узнать «имя и фамилию» микроба, вызывающего высокую температуру. Искали внутри воспалительный процесс. И тут я, может, впервые осязаемо ощутил, сколь беспомощна и сколь не конкретна порой медицина. Насчитал я двадцать четыре мнения, высказанные двадцатью четырьмя врачами.

Днем и ночью температура держалась на уровне тридцати девяти и пяти. Редчайший случай: температурная кривая — прямая. Лучшие специалисты по антибиотикам ломали голову в поисках необходимых комбинаций препаратов. Все усилия оказались тщетными. Тридцать девять и пять — это для врачей. И тридцать восемь для родственников, для Нуне, ради которой мы с Фоминых играли роль конспираторов.

Утром шестого мая в гостинице мы поздравили друг друга с днем рождения Джона. Телефон трезвонил непрерывно. Отправились в больницу традиционным составом: сын Джона, сестра и я. В тот день, как и накануне, температурная кривая была прямой.

В какой-то момент у меня родилось сомнение в «честности» электронного табло, на котором мигали зеленые цифры «39,5». Поделился сомнениями с Фоминых. Виктор лукаво посмотрел на меня и улыбнулся. Подобная тревога одолевала его давно, и он дублировал измерение температуры традиционным ртутным градусником.

— И все-таки, как по-твоему, Виктор Петрович? Откуда такая упорная температура при чуть ли не абсолютно чистых легких?

— Ума не приложу. Голова кругом идет. За эти дни я, кажется, прочитал все написанное о температуре. Ничего нигде подобного, ничего похожего.

— У Джона все вообще никогда ни на что не похоже.

— Я думаю...

— Ты думаешь, если нет воспалительного процесса, то температура имеет центральное происхождение?

— Кто тебе об этом сказал? — удивился Фоминых, который упорно требовал, чтобы мы с ним говорили только на «ты».

— Могу честно сказать. Каждое утро, зная, что в Ереване знакомые будут звонить моей жене, тоже врачу, и справляться о больном, информирую о его состоянии. Вот уже несколько дней я сообщаю ей, что не спадает температура. Она, не придавая особого значения своим словам, сегодня сказала: «А вдруг

температура центрального происхождения? Нарушен центр терморегуляции?»

— Это идея! — громко сказал Виктор и немного погодя добавил: — Хотя очень спорная.

— Какая-никакая, но проверить надо. Иначе мы потеряем его. Он просто сгорит в огне. Даже при гриппах и прочих ангинах у этого человека температура не поднималась выше субфебрильной.

Судя по всему, идея оказалась верной, но в практическом плане мало что давала. Чем сбить температуру? Холодом? Пробовали — ничего не выходило. Каждый день больному проводили гемодиализ с подключением искусственной почки. Температура падала лишь в момент работы аппарата. Однако такое явление было вполне объяснимым: кровь, проходя через бесконечные стеклянные трубы, конечно же, охлаждалась. Стоило отключить аппарат — как через считанные минуты температура поднималась до тридцати девяти и пяти.

Это были поистине самые мучительные дни для всех нас. Пожалуй лишь один Джон не знал, что творится вокруг. Все, казалось, уже было забыто: и сложная операция, и искусственное дыхание, и каждодневные вынужденные подключения искусственной почки, иначе накапливались бы вредные, даже опасные вещества. Высокая температура отодвинула все в сторону, на задний план.

Ежедневно, в час ночи, по договоренности, я созванивался с Размиком Петросяном. В ночь на двенадцатое мая я ему рассказал о нашей тревоге. И в полдень Размик с двумя друзьями прилетел в Москву. В тот же вечер я договорился с Фоминых и повез их в больницу.

Все трое молча стояли у постели больного всего одну минуту. Я видел, как они волнуются. Стараясь не дышать, они смотрели на спокойное лицо Джона. Зеленые светящиеся точки показывали тридцать девять и девять. В следующую секунду, как это бывает на циферблате электронных часов, засветилась новая цифра: ровно сорок. Я подумал: «Это — конец». Нужно держаться, нельзя выдать свое состояние, свою тревогу в присутствии этих умудренных жизненным опытом и очень хрупких душой людей. Они всю ночь не спали, бросив все дела, вылетели в Москву. Еще одно меня угнетало. Ведь Джон дал знать, что выдержит до двадцатого июня. Эту мысль заслонила другая: «Джон сейчас без сознания. Значит, он не знает, что с ним происходит, значит, он не в состоянии управлять своей смертью, как он управлял собствен-

ной жизнью». Я видел, что это конец, и словно оправдывал Джона за невольное предательство всех перед его дочерью.

...Ехали в гостиницу молча. Каждый думал о своем. Каждый думал об одном и том же. Слепых среди нас не было. Все видели эту страшную цифру на табло — «40». Все-таки я где-то в глубине души чувствовал, что еще не конец. У входа в гостиницу я нарушил молчание:

— Не верю.

— И я не верю, — сказал Размик.

— Сейчас идем к Лие, виду не подавайте. Температура — не больше тридцати восьми.

Едва мы вошли в комнату, как нас окружили. Лия, рыдая, сказал: «Дайте я поцелую ваши глаза, которыми вы смотрели на моего Джона». Присутствующие взхлеб, перебивая друг друга, стали расспрашивать о визите в больницу. Я почувствовал, что пока мы ехали из Кунцево в гостиницу «Москва», что-то произошло. И произошло что-то хорошее.

— Кто звонил? — спросил я, обращаясь сразу ко всем.

— Фоминых и просил, чтобы срочно ему позвонили. Он сообщил о наступившем переломе, температура спала. Но как ни уговаривали, подробностей не рассказал, — так примерно отвечали все хором.

Я стал нервно набирать номер. Меня трясло, как в лихорадке. Фоминых отсутствовал. Заместитель мне сказал, что температура спала до тридцати восьми. Соответственно реже стал пульс. Больной даже реагировал на голоса, открывал глаза. По моему лицу, по голосу было видно, что получена очень хорошая информация. Но я был в замешательстве. Не могу же я сказать, что температура без посторонней помощи упала до тридцати восьми. Именно такая температура, все знают, держится на протяжении почти двух недель, и именно эта цифра вызывает тревогу. Если сказать, что она спала до нормы, то завтра же откроется вся ложь. Мы с Виктором, конечно, сознавали, что играем в некую странную игру, что это вовсе даже и не игра — жизнь. Никто из родных не знал об отключении электронного табло в те редкие дни, когда им разрешали заходить в палату к больному. Сказать же всю правду, то есть раскрывать себя, не хотелось. Никто после этого уже не поверил бы ни мне, ни Виктору Фоминых. В это время меня, как говорится, рвали на части. Все хотели услышать добрую весть. И я сказал:

— Джон будет жить! — так и хотелось добавить: «До двадцатого июня».

Наступило тягостное молчание. Я знал, никто не посмеет уточнять, не спросит, скажем, а сколько он будет жить? Тут другое. В любую минуту все ждали трагедии и вдруг — «Джон будет жить». Дальше уже легко было выкручиваться. Сказать, например, что сегодня неожиданно температура поднялась до сорока, что это наступил кризис. А потом стала понижаться, вновь вернулась на исходный рубеж, на тридцать восемь ровно, но затем изменились к лучшему и все остальные показатели. И главное, после долгого перерыва Джон на некоторое время пришел в сознание.

На следующий день температура у больного оставалась нормальной. Он пришел в себя. И появились новые проблемы. Новые мучения ожидали Джона, который все еще продолжал жить после смерти.

Каждый раз, когда Джон после вечерней игры в футбол выходил в будущий Сарьяновский сквер, он подолгу рассказывал о подробностях игры. С особым смаком говорил о забитых им голах, число которых, как в хоккее, доходило до десяти. Слушателей интересовала не игра великовозрастных футболистов, а то, как комментатор вел этот запоздалый репортаж.

Для Джона гол является осязаемой победой, которую можно увидеть глазами, потрогать руками. Его бесило, когда после очередного поражения «Арарата» говорили о якобы в целом хорошей игре команды, раздражало, если кого-либо из футболистов при этом хвалили. Если нет гола, нет победы. Какая уж тут красота! Не выносил так называемой психологии «своего» и «чужого» поля — мол, потерпели поражение, потому что играли в гостях. Этаким рок, самооправдание. «Только гол», — кричал он, даже когда разговор шел о делах, очень далеких от футбола. И меня ничуть не удивило, когда он как-то, держа в руках сигнальный экземпляр своей книги, возбужденно сказал: «Знаешь, такое ощущение, словно я напропалую прошел сквозь стенку, составленную из дюжины защитников, обвел финтами одного, другого, третьего, мне подставляли подножки, больно били по ногам, а мне все-таки удалось забить гол».

В другой раз, рассказывая о встрече с одним из своих многочисленных оппонентов, Джон то и дело повторял: «И тут я забил ему гол. Мяч влетел в девятку». Однако, надо признаться, Джон не любил, когда ему самому забивали голы. Мало того, свои поражения он сравнивал с футболом. И я хорошо понимал почему. Он по натуре был нападающим, а не защитником,

тем более вратарем. Но собственная победа для него всегда ассоциировалась только с забитым голом. И этот образ Джон использовал, употреблял в разговоре часто. Если ему нравилась моя статья, то он непременно начинал разговор с фразы: «Ты забил сегодня красивый гол». Чаще всего это было после выхода в свет-какой-нибудь проблемной статьи. Правда, всегда добавлял: «Но учти, вратари не любят, когда им забивают гол». Однажды после очередного «гола», который был не по душе не только вратарю, но и, так сказать, некоторым болельщикам, Джон сказал:

— Ты только не вздумай спасовать. Не жди, что вратарь, которому забили гол, влюблен в тебя за точный удар. Это противоестественно. Ты знаешь, как радуется голу стадион, зритель. Но не следует забывать, что число противников растет после каждой твоей книги, каждой статьи. Взяв тебя на мушку, они перво-наперво перестанут тебя читать. И после очередного произведения начнут распускать слухи. Чтобы нанести удар посильнее и побольнее, приклеют ярлыки, обвинения в том, что выносишь сор из избы. И громче всех будут кричать те, кто сам и сорит. Ну, а если ты скажешь, что Салтыков-Щедрин или Марк Твен бичевали пороки общества, что Бальзак и Чехов все время держали руку на болевых точках, тебе в ответ полетит готовая раболопная фраза: «Это представители великих народов, а мы народ малый, даже маленький». Будь всегда выше тех, кто играет роль патриота, и как можно больше забивай им голы. Эти трусы больше всего боятся своего поражения. Их не волнует чужая победа. Их страшит собственное поражение. Количество твоих врагов будет расти в арифметической прогрессии, но зато количество друзей в геометрической. Бойся только одного — как бы не разочаровать друзей...

«Как бы не разочаровать друзей». Эту формулу, мне думается, надо попытаться расшифровать. Тут ведь дело не в том, что кто-то из закадычных друзей может обидеться, если ты не выпьешь за его здоровье или откажешься выполнить какую-нибудь просьбу. Читатель, а еще точнее, народ, поверивший в тебя, не простит, отвернется, если увидит, что ты дал слабину, не оправдал его ожидания, обленился, неправильно оценил обстановку, сделал хотя бы шаг из корыстных побуждений, не увидел голевых ситуаций, а еще страшнее, если забивал гол в собственные ворота.

Джон выходил из себя, когда о сложной и важной проблеме писали плоско, скучно. «Так можно опошлить любое важное

дело». Особенно негодовал, когда обнаруживалась неискренность, когда выпирала ложь. Не случайно в предисловии к одной из своих монографий историк писал, ссылаясь сначала на Ленина: «Без гнева писать о вредном — значит скучно писать», затем на Сервантеса: «Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков». В последние годы он часто повторял эти слова. Ибо в последние годы он довольно часто с гневом изобличал лживых историков, как фальшивомонетчиков. И всякий раз, проходя в сквере мимо каменной плиты, установленной в аллее, повторял одну и ту же мысль: «Хочется поскорее увидеть здесь Мартироса Сарьяна».

Весь вечер просидел я с Фоминых в его кабинете. Время от времени мы навещали больного, который приходил в себя на минуту-другую и отключался на час-другой. Все было логично — слишком долго он горел, как в огне, и слишком много пичкали его медикаментами. Нужно было время, чтобы восстановить силы. С Фоминых больше всего говорили о медицине. Я подолгу находился в белом халате в больничной обстановке, казалось, вернулся к профессии, которой некогда был так предан. Часто спорили. Особенно когда речь заходила о проблемах здравоохранения. Я обнаружил, что Виктор не чувствует этих самых проблем. Для него есть только свое дело: анестезиология и реаниматология. Все остальное давалось ему легко и без особых хлопот, будь то медикаменты или аппаратура. Как-никак — Кремлевская больница. А ведь на местах подчас из-за отсутствия медикаментов и аппаратуры погибают больные. Потом я рассказал, как год назад потеряли очень хорошего, уважаемого человека, которого лечили двадцать врачей, и все по-разному. По душе мне пришлось слова хозяина кабинета — миллионы раненых во время войны были возвращены в строй, в первую очередь, потому, что по всему фронту был узаконен принцип ведения и лечения больного или раненого. Разные научные школы не имели права спорить ради споров, ради амбиций, ради чести своего мундира.

— Как, по-твоему, можно ли было упредить осложнения в нашем случае, будь у нас в Ереване компьютерная томография? — спросил я.

— Думаю, вряд ли.

— Но ведь еще во времена Боткина ставили диагноз «аневризма аорты».

— Ставили с таким же опозданием, как и сейчас. Так что компьютерный томограф — это фантастика даже для сегодняшнего дня.

— Понимаешь, мне кажется, если где-то в мире есть хотя бы единственный аппарат или что-то вроде иглы, которая может спасти единственного человека, обреченного на смерть, то нужно, чтобы этот самый аппарат или эта самая игла была везде и всюду, на всех пяти континентах.

— Идеалистика?! — не то спросил, не то утвердил Фоминых.

— Может быть. Просто обидно. В секрете и тайне можно и нужно, наверное, держать виды оружия смерти, но не орудий жизни.

Я уже слишком хорошо знал Виктора и не боялся обвинения в откровенности, наивности. Мало того, не сомневался, что и он считает: Всемирная организация здравоохранения должна добиться того, чтобы и методы, и способы, и возможности оказания медицинской помощи во всем мире были одинаковыми, так сказать всемирными. До Марса добрались, камень с Луны достали, а аппарат, который позволяет послойно осмотреть больного, не можем создать. Мы не можем — другие могут. Мы что-то другое можем — они не могут. Земля одна. Все мы — современники-одновременники, соседи по эпохе.

Любая революция, кровавая или бескровная, чревата всегда издержками, жертвами, трагедиями. И революция поэтому — тяжелое слово. Для того чтобы ее совершить, нужно переделать человека, потом перевернуть мир. Я бы не взялся ни за какую революцию, боясь издержек, жертв, трагедий. Но, не моргнув глазом, взялся бы за полную революцию нашего здравоохранения. И начал бы, наверное, с приема в вуз. Какие только льготы не напридумывали. Если два года человек работал асфальтоукладчиком, то он может, оттолкнув локтями будущего Пирогова, стать студентом. Почему? За хорошую работу асфальтоукладчику надо платить хорошие деньги. И больше ничего. Мечтаю написать статью о проблемах здравоохранения, в которой бы прямо сказал, как иные руководители на местах под видом борьбы с негативными явлениями и в нарушение Конституции волюнтаристским методом запрещают поступать в юридический вуз сыну юриста, а в медицинский — сыну врача. Вряд ли этот самый горе-руководитель знает, что восемнадцать поколений Гиппократов были врачами и передавали эстафету мудрости, опыт, накопленный в веках, книги, в конце концов.

— Ты любишь, — сказал Фоминых, — свои статьи заканчивать мудрыми мыслями, фразами. Давай я тебе скажу мудрые слова одного врача, который носил даже соответствующую фамилию — Мудров.

— Матвей Яковлевич?

— Да, Матвей Яковлевич. Тот самый, который пожертвовал собой ради спасения жизни других.

— Принимаю подарок.

— Мудров сказал: «Средний врач не нужен. Уж лучше никакого врача, чем плохой».

— Обещаю непременно завершить этими словами какую-нибудь статью по медицине. Вернее, о здравоохранении. Боюсь только, что пищу для раздумий даст случай с нашим другом.

— Про такой случай не статью, а монографию можно написать, — сказал Виктор, — в моей практике, например, а практика, чего скрывать, очень даже богатая, такого не бывало, и думаю...

Зазвонил телефон, и Фоминых не закончил мысли. Я догадался, что разговор идет о Джоне. Палатная сестра просила заведующего отделением зайти к больному.

Неподвижный великан лежал на своей космической кровати и спокойно глядел в потолок. Я подошел к нему с одной стороны, Фоминых — с другой. Джон сначала посмотрел на меня, потом медленно перевел взгляд на Виктора. Пошевелил губами.

— Джон Саакович, — сказал Фоминых, — только что позвонила сестра и сказала, что вы хотите нас видеть. Это правда?

Джон опустил веки.

— Вы что-то хотите сказать? — спросил Фоминых.

Больной закрывал и открывал глаза.

Я понимал, что скоро больной устанет, и, в первую очередь, от раздражения. Он выходил из себя, когда его не понимали, нервничал, а потом отключался. Надо было что-то делать. Требовалось перейти на наш «язык».

— Рассказать тебе, брат, о родных и близких?

Джон дал понять, что, конечно, ему хотелось бы послушать о них, но по всему было видно, не это являлось сейчас главным для него. И я скороговоркой, общими фразами рассказал о всех, кто ждал вестей в гостинице. А сам в это время думал, как бы добраться до желания больного. Ведь он что-то хотел, раз дал понять сестре, чтобы позвали врачей.

— Я понимаю, ты выходишь из себя, потому что мы не можем поговорить друг с другом.

И тут мы заметили явную активность в движениях кистей, в мимике. Показалось даже, что Джон улыбнулся. Значит, сама тема разговора близка ему, она сводилась к тому, чтобы наладить контакт. И я сказал:

— Ты, наверное, хочешь найти способ, с помощью которого мы могли бы поговорить?

Он задержался. Такое я уже видел несколько раз. И опять почувдилось, что он задвигал ногами. Но ногами он не мог двигать. И неизвестно, будет ли вообще когда-либо это делать.

— А какой ты придумал метод?

Он опять зашевелил губами.

— Алфавит Морзе? — не то спросил, не то предложил Виктор Петрович.

На лице больного появилась подобие улыбки, означающее, наверное, что он не владеет Морзе, да и отечные, малоподвижные пальцы вряд ли годятся для перестуков.

— Ты только не переживай, не волнуйся. Мы сейчас пойдем друг друга, — сказал я. — Способов очень много. Ты согласен?

Джон был согласен. Но я чувствовал, что у него уже есть один верный, на его взгляд, способ. Надо только догадаться. Надо исходить из ситуации, положения, в котором он находился. Лежит неподвижно, дыхание искусственное — значит, никаких звуков. Двигаются только руки, и то едва-едва. Но ведь они двигаются. Они очень слабы. Но ведь в них есть хоть какая-то сила. стакан воды трудно удержать. Но ведь можно... И я вскрикнул, заметив, что он весь сияет от моей догадливости. Стоит мне сейчас произнести только два слова «бумага» и «карандаш» — и он вскочит с места.

Так оно и случилось. Или почти так и случилось. Я произнес эти два слова. Больной не просто улыбался, он смеялся, как в немом кино. Светловолосая сестра неожиданно кинулась к нему, наклонилась к его бронзовому лицу и поцеловала в щеку. Едва сдерживая слезы, она бросилась за ширму. Трудно было скрыть волнение и нам с Виктором. В самом деле, простая идея. Надо попробовать сейчас же. Это — спасение. Скоро уже месяц, как сделана операция, и человек не может произнести пока ни единого слова. А может, у него есть такое слово, без которого жить нельзя.

Достали ученическую тетрадь. Попытались пристроить в правой руке Джона шариковую ручку. Ничего не выходило. От

нашего азарта не осталось и следа. Человек не может писать, находясь в невесомости. Да и кисть едва шевелится. Требовалось посадить больного на крутые подушки, зафиксировать корпус, руку. И нужен, конечно, вместо тонкой тетради альбом для рисования в твердой обложке, а вместо авторучки — фломастер.

На следующее утро в палату принесли несколько фломастеров. И после обхода начались первые уроки. Джон учился писать.

Вначале ничего не выходило. Рука сползала. Пристраивали под локоть валики, привязывали предплечье к горизонтальной никелированной штанге кровати. Больному нравилось, с какой настойчивостью мы пробуем варианты. И вот на больших плотных листах альбома стали вырисовываться буквы. Виктор пошутил: «У вас каллиграфический почерк». Джон улыбнулся, когда показали его первые пробы. Замысловатые кривые, ничего общего не имеющие с «кириллицей». Но он продолжал выводить буквы. Ему, видно, хотелось написать одно очень важное слово. И он написал его. «Нуне». Первым догадался Фоминых и вслух произнес имя дочери своего пациента. Больной сильно зажмурил глаза, выдавив из них капли крови.

— Пробуй еще, брат.

И он пробовал, тренировался. Он трудился старательно. Первая буква получилась довольно четко — «А». Но потом рука сползла, и далее трудно было понять. И все же он добился своего. Светлана громко произнесла: «Абрикос». Джон улыбнулся, с нескрываемой благодарностью посмотрел на палатную сестру. Далее можно было перейти на «диалог».

— Ты хочешь абрикос?

Он опустил веки.

— Вчера давали тебе попробовать. Позабыл? Ты не смог есть, не смог жевать. И дали тебе сок. А сейчас попробуем. В холодильнике полно фруктов.

Джон зашевелил губами. Я, кажется, догадался, что он хочет.

— Ты хочешь сказать, что кроме абрикоса ничего не хочешь?

«Да».

— Ты всегда говорил, что грешно летом выезжать на всякие курорты из Еревана. Но сейчас на дворе середина мая и пока у нас нет «фруктус арменика». Лия вчера на московском рынке купила узбекских абрикосов. Через месяц поспеют и наши. Ты понял?

«Да».

Джон съел два спелых абрикоса. Ему было хорошо. От третьего отказался. Слишком трудно давалась ему эта процедура. Я мысленно представил, как бы я чувствовал себя, если бы при искусственном дыхании, при просунутых через ноздри стеклянных трубка, при людях, смотрящих на тебя широко раскрытыми глазами, смог бы съесть хоть что-нибудь. ...И все же другого всегда не было. Только пробовать и пробовать. Задыхаться, уставать, выключаться, засыпать. А после просыпаться и начинать все сначала.

— Хотелось бы тебе еще попытаться писать? — спросил я.

«Да».

— И он пытался. То и дело приходилось переворачивать листы альбома, так ничего и не поняв, что он хотел сказать. Мы догадались, что лучше писать не предложениями, не фразами, а отдельными словами. Так нам подсказывал опыт — «сын ошибок трудных». Больной написал слово «книга». И я спросил его:

— Ты хочешь сказать о какой-нибудь книге?

«Да».

— О твоей?

«Нет».

— Имеет ли эта книга к тебе прямое отношение?

«Да».

— Может, ты написал предисловие к ней?

Джон закрыл глаза.

— Я, кажется, догадался. Ты хочешь написать... Словом, ты хочешь поправить — не предисловие, а послесловие.

И мы увидели, как Джону хорошо: его могут понять, с ним можно вести полноценный диалог. Хорошее настроение нужно было поддерживать. Но предстояло еще догадаться, о какой книге идет речь. Хотя я не очень переживал. Знал, что стоит мне узнать, в каком издательстве готовится книга к печати, и я непременно угадаю.

— Книга выходит у нас? — спросил я.

«Нет».

— В Москве?

«Да».

— В издательстве «Наука»?

«Нет».

— «Мысль»?

«Нет».

— «Научная книга»?

«Нет».

Все ясно. Значит, художественная. Значит, в «Советском писателе». Значит, речь идет о книге Степана Аладжаджяна «Тростники не склонились».

И опять больному стало лучше. Я уже понимал, что он хочет узнать о судьбе книги, к которой написал послесловие. Я вспомнил, он с гордостью говорил еще несколько месяцев назад, как к нему, историку, обратились из издательства «Советский писатель» с просьбой написать послесловие к роману Степана Аладжаджяна, темой которого послужило историческое событие, связанное с созданием армянского демократического государства в Киликии в начале двадцатого века.

— Отдохните, Джон Саакевич, — предложил Фоминых, — а мы завтра узнаем в издательстве, в каком состоянии находится книга.

Джон согласился. Хотел что-то сказать губами, но Виктор перебил его: «Баста. Сеанс окончен». Больной улыбнулся и сомкнул веки. Перед тем как закрыть за собой дверь, я взглянул на счастливое лицо палатной сестры, для которой все происходящее было чудом, и перевел взгляд на друга. Он лежал спокойно, с его лица все еще не сходила улыбка.

На следующий день я посетил издательство «Советский писатель» и узнал, что книга с послесловием Киракосяна отправлена в набор восьмого апреля. Мне показали послесловие. Сидя в одном из небольших кабинетов, я начал читать рукопись. Кем-то были подчеркнуты отдельные строки, абзацы. Невольно я обратил внимание на подчеркнутые места. «...Как свидетельствует история, каждая победа русского оружия над Османской империей, каждый международный договор русской дипломатии приближал день полного освобождения греков и сербов, болгар и черногорцев, грузин и армян. Каждый раз после очередной победоносной войны русских с турками армянский народ приветствовал русских, будь то в Карсе или Эрзруме, Ване, Алашкерте или Баязете, других областях Западной Армении, видя в них своих освободителей от турецкого гнета. И каждый раз политические и дипломатические акции западноевропейских держав, направленные на максимальное ограничение территориальных приобретений России, приносили в жертву судьбу армянского народа. Британский министр иностранных дел Солсбери в 1878 году с редким цинизмом заявил, что «во имя спасения христиан моя рука не остановится по каким-либо соображениям гуманности для предотвраще-

ния дальнейшего продвижения русских». Меня всегда поражало, с какой искренностью и решимостью Джон отстаивал идеи интернационализма. Часто любил повторять слова Ленина: «Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка». Как-то Джон произнес эти слова в присутствии профессора МГУ Гранта Епископосова, и тот признался, что одной такой цитаты достаточно, чтобы написать целую книгу. И ведь написал же после этого Грант книгу, которую назвал: «Переоценка ценностей». Сигнальный экземпляр с нарочным был отправлен Джону, который прочитал книгу за один вечер. Читал с карандашом в руках. Книжка Епископосова находилась в гостинице у Лии. Не знаю, почему и для чего среди немногих книг и рукописей, которые Джон взял с собой в Москву, была и «Переоценка ценностей». Читая в издательстве «Советский писатель» послесловие к книге «Тростники не склонились», я невольно вспомнил неоднократные беседы Джона и Гранта. Чаще мы втроем встречались в нашем сквере в те дни, когда Грант приезжал на недельку-другую в Ереван. И сейчас мне почему-то захотелось поехать в гостиницу, чтобы вновь посмотреть на подчеркнутые места в книге Гранта. Я был уверен, все подчеркнутое обговаривалось во время наших бесед. Читая в гостинице куски, я явственно слышал голос друга:

— Опасные иллюзии! Уверенность в том, что ракетно-ядерное оружие пошатит западные страны, — явный самообман. Горячие головы на Западе рекомендуют США строить американскую политику, взяв за образец стратегию Древнего Рима в отношении Карфагена и стратегию Гитлера перед Второй мировой войной.

Помнится, Грант привел чью-то цитату, а затем добавил, развивая мысль собеседника:

— Авантюристская стратегия «разрушения Карфагена» увлекла и турецкого деятеля Тюркеша, выступающего с пантюркистскими планами создания новой мировой империи, простирающейся от Монголии, Средней Азии, Урала до Кавказа и Средиземного моря. И план этот называется «Великий Туран».

Грант в своей книге приводит цитату из Тюркеша: «В нашей борьбе мы не будем сломлены потому, что Бог создал турок для побед, а не для поражений... В настоящее время история и судьба готовятся возложить на нас новую миссию. Эта миссия заключается в создании великой Турции». И далее главарь «Серых волков», впадая в пантюркистский экстаз, угрожает: «Ту-

рецкий национализм подавит и уничтожит коммунизм». Это, конечно, демагогия и фарисейство, ибо в данном контексте слово «коммунизм» можно было заменить словом «Россия».

Все шло хорошо. Уже забыли про злополучную температуру. Время от времени больного переводили на естественное дыхание, которое, правда, давалось с большим трудом. Пробовали вести продолжительные диалоги. Словом, радости было много. Мы с Арманом даже решили на несколько дней вылететь домой. Пошел уже второй месяц пребывания в Москве у постели больного. Все дела отодвинуты на второй план, даже необходимые. Как-никак у меня трое маленьких детей. И у Армана накопилась прорва дел. Он даже не успел убрать свой рабочий стол.

Летели в самолете, и нам было хорошо от сознания, что хорошо Джону. Арман, как и все родственники, конечно, не знал, что если даже случится чудо, и отец победит смерть, то ходить он никогда не сможет. Я считал: преждевременно еще говорить об этом. Главное, отвести руку смерти. Думал я уже о коляске, которую придется сотворить специально для восьмипудового человека. Ничего, в конце концов, страшного, если ученый-историк остаток лет проведет в коляске. Как угодно, лишь бы жил. Лишь бы творил.

...Вечером того же дня в нашем сквере, как и ожидалось, собралась толпа. Опоздавшие не осмеливались громко здороваться. Молча пристраивались к окружавшим меня и Армана друзьям и прислушивались. Вопросы посыпались только после того, как мы выговорились. Звонили мне ночью, звонили утром.

Я рассчитывал за три-четыре дня привести дела в порядок. Всю следующую ночь провел за столом. Продолжал работать и днем в свое удовольствие и не знал, что в это время происходит невероятное — мне звонит из Москвы Фоминых и не может дозвониться. Друга вновь положили на операционный стол. Все произошло неожиданно. Джон опять сплоховал — стал раздуваться живот, пожелтела кожа и склеры. Острый холецистит. Еще час-другой — и лопнул бы желчный пузырь. Операция не из легких: надо вскрывать брюшную полость и удалять желчный пузырь. Необходимо вставлять дренаж, проводить соответствующее послеоперационное лечение. Не каждый крепыш легко переносит такую операцию. А тут на стол положили человека, которого оперировали месяц назад.

Человека, который держался все это время на всем искусственном. Вечером я снова был в Москве. К полуночи поехал к Виктору Фоминых домой. Рассказ его трудно воспринять даже врачу.

— Я вспомнил твои слова, — начал Виктор Петрович.

— Какие?

— Муки Христовы.

— Скажи, Виктор, только как на духу... Выдержит он на сей раз?

— Я не оракул.

— Прогнозы в медицине основываются на науке.

— Киракосян — сам по себе, медицинская наука — сама по себе. Ни в какие рамки он не влезает.

— Он всегда был таким.

— Болеет он, наверное, так же, как и жил. Необычно...

И все же хотелось подвергнуть положение научному анализу. Искусственная аорта. Искусственное дыхание. Искусственное питание. Паралич ног. Не только ног, но и органов малого таза. Перечислять можно долго, но, пожалуй, достаточно сказать о самом главном — о выраженной гипертонической болезни. Да, участок искусственной аорты выдержит любое внутриартериальное давление, но ведь он, этот самый синтетический участок, с двух сторон подсоединен к живым сосудам. Болеет огромное дерево. А мы хотим успокоить себя тем, что вылечили несколько веток.

Четыре дня Джон был без сознания. Едва он начал отходить от глубокого девятичасового наркоза, как снова пришлось все повторить сначала. Полостная операция тоже проходила под глубоким наркозом. На пятый день после второй (если не считать трахеостомии) операции Джон открыл глаза. Желтушность проходила. Решили, что я расскажу ему обо всем. Он слушал меня, и ему не верилось.

— Помнишь, брат, ты всегда чувствовал какой-то дискомфорт в правом боку?

«Да».

— Так вот, у тебя в желчном пузыре были камни. А теперь все позади. Ты же всегда мечтал сбросить вес. Вот и сбросил с себя... камни.

Больной попытался улыбнуться. Ему, наверное, казалось, что это удалось.

— Все начинается сначала. Ты меня понимаешь?

«Да».

— Скоро снова будем говорить с помощью карандаша и альбома, а потом и вовсе все пойдет на лад. Ты что-то хочешь спросить?

«Да».

— О переводе твоей монографии?

Он дал понять, что не это является сейчас для него главным вопросом.

— Я недавно в издательстве читал послесловие, которое ты написал накануне болезни.

Джон зашевелил губами. Он спрашивает о том, какое оно на меня произвело впечатление. И, не задавая предварительных вопросов, я продолжил:

— Запомнилось, что опыт турецких организаторов геноцида тщательно изучался, исследовался в фашистской Германии при осуществлении актов массового истребления людей в оккупированных странах Восточной Европы. Запал в голову факт, как в сорок третьем году, в самые трудные дни, когда при поддержке гитлеровской Германии Турция открыто выступила с пантюркистскими требованиями к Советскому Союзу, именно в это время прах Талаата, палача армянского народа, перевезли из Берлина в Турцию. А по свидетельству израильской газеты «Этиот Ахронат», Гитлер самолично занимался этим вопросом. Фюрер поручил Мартину Борману организовать вместе с турецким правительством перенесение останков из Берлина в Стамбул.

Джон меня слушал с широко открытыми глазами. Я слишком хорошо знал и его, и все то, что им написано, чтобы не догадаться, что он в это время хотел сказать. Гитлер дал указание Борману в самом начале сорок третьего, когда не сомневался в падении Сталинграда. Турецкие правители получили секретный приказ из Берлина, что падение Сталинграда должно служить сигналом для нападения Турции на Советский Союз. И конечно нападение это должно начаться с захвата Армении и Грузии, с уничтожения христианского населения и памятников культуры в Закавказье. Падение Сталинграда должно было стать началом осуществления планов пантюркизма, фундаментализма, пантуранизма. Если бы историк мог говорить, то рассказал бы в присутствии Фоминых и палатной сестры, как в наши дни в торжественной обстановке отмечалось шестидесятилетие со дня убийства Талаата, точнее со дня приведения в действие приговора армянского народа. Проходили традиционные турецкие церемонии при стечении боль-

ших масс людей, в присутствии государственных и военных руководителей, под звуки государственного гимна Турции. И никого не удивило, что сегодняшние турецкие правители, танцующие под дудку американцев, разглагольствующие о необходимости борьбы с терроризмом, склоняют голову перед прахом махрового террориста и человекоубийцы, главного организатора массового истребления армян.

В «Послесловии» говорилось и о том, что небезызвестный политический деятель Англии Пальмерстон несколько изменил свою знаменитую формулу: «У Англии нет постоянных врагов, у Англии нет постоянных друзей, у Англии есть постоянные интересы». Скорее, пристроил к конкретной ситуации, к конкретному региону: «Мы помогаем Турции для себя и в соответствии с нашими собственными интересами».

— Ты еще что-то хотел спросить?

«Да».

— О чем ты хочешь спросить, или о ком?

Джон не мог ответить. Он не знал, как быть. Я повторил:

— Ты хочешь спросить о ком-то?

«Да».

— Перечислить имена родных и близких?

«Нет».

— Я понимаю. Какое бы имя я ни назвал, ты, конечно, захочешь сказать «да». Но долго говорить мы не можем, поэтому ты хочешь спросить только об одном человеке...

Я перевел взгляд на электронное табло. Пульс в это время подскочил с «80» до «90». Виктор Петрович, возившийся с аппаратурой, подмигнул мне, мол, ничего страшного, продолжай.

Фоминых тоже догадался, что Джон хочет узнать подробности о дочери.

— Сегодня все проспали завтрак, потому что до утра не спали. Телефон мешал. Мы завтракали с Нуне.

Джон зажмурил глаза. По щекам потекли слезы. Я вытер ему салфеткой лицо. Он как-то нервно зашевелил губами, просил продолжить рассказ о дочери.

— Завтракали мы за «шведским столом». Нуне много всего заказала, но не смогла одолеть. И попросила меня: «Съешьте, пожалуйста, что-нибудь». А то неудобно, скажут, пожадничала, добро перевозжу...»

Было полное впечатление, что отец рыдает. А губы конечно же повторяли одно и то же: «Чтоб я взял твою боль себе, доченька!» «Цавыт танем, Нона-джан!»

— Она мне как третья дочь, — продолжил я, — и на правах отца и врача я спросил ее: мол, как ты себя чувствуешь, Нунеджан? А она, зардевшись, сказала, что вчера проходила мимо книжного киоска в гостинице и увидела на прилавке томик Твардовского. Нуне купила томик, вспомнив, что из русских поэтов папа больше всего любит Твардовского. Всю ночь читала книгу, подчеркивая те строки, которые, по ее мнению, понравились бы ее отцу. Одну строфу прочитала мне за завтраком: «А всего иного пуще Не прожить наверняка — Без чего? Без правды сушей. Правды прямо в душу бьющей. Да была б она погуше. Как бы ни была горька...»

Пульс держался на отметке «90». Давление сто шестьдесят на сто. Больной смотрел на меня, и глаза его просили, чтобы я говорил о дочери еще и еще, говорил о самом главном. И я сказал:

— Все в порядке. Уже появились пятна на лице, которые ее ничуть не портят. Когда я поздно вечером возвращаюсь домой из больницы в гостиницу, Нуне всегда бросается мне навстречу. Она хочет первая узнать о папе... Хочешь пить?

«Нет».

— Хочешь что-то сказать?

«Да».

— Давайте отдохнем, — предложил Виктор Фоминых.

«Нет».

— Хочешь еще услышать о дочери?

«Да».

— Я сказал — у нее все идет нормально. Беременность девять-десять недель.

Еще не закончив фразы, я уже знал, что он сейчас зашевелит губами. Честно говоря, не раз приходила мысль пригласить знающего азбуку глухонемых. Но дело в том, что губами Джон двигал без дыхания, его бы никто не понял... Я все время находился в напряжении. Ведь тысяча мыслей терзает больного, а мне удается уловить только одну-другую. Чайной ложкой океана не вычерпаешь. Вот и сейчас, сказав о сроке беременности дочери, я догадывался о веренице других мыслей. И надо выделить самое самое. Я, кажется, догадывался об этом самом.

— Ты хочешь знать, какое сегодня число?

Я смотрел в глаза другу, и мне представился вздох облегчения.

Он был счастлив уже только потому, что я прочитал его мысли. Мысли на расстоянии никто никогда не читал. Можно, конечно, так вжиться не в образ, а в саму жизнь близкого человека, что и мыслить будешь как он. Ведь и раньше, до болезни, мы

«читали» мысли друг друга. Как-то я ему рассказал о знакомстве со знаменитым «телепатом» Вольфом Мессингом, который дважды приезжал ко мне в гости на Камчатку. Эта особая и, на мой взгляд, очень интересная история, о которой стоит, наверное, когда-либо написать. Но Джону я поведал лишь одну из главных тайн Мессинга, который у меня дома, в Петропавловске-Камчатском, на улице Партизанской, 28, кв. 32, исповедовался незадолго до смерти. Он приехал во второй раз на край света после того, как я несколько раз посетил его в Москве и в молодежной газете написал очерк «Великий телепат». Приехал он с концертом, который, как всегда, проходил с аншлагом. И поздно вечером, когда разошлись гости, которых я пригласил на ужин, Вольф Григорьевич сказал, что он всю жизнь угадывал чужие мысли, предугадывал чужие судьбы, а теперь вот точно знает о своем финише. Может даже заранее сказать, когда умрет. Только не хочет этого делать, чтобы не оказаться во власти названной даты. И вот решил именно на краю света исповедоваться не так передо мной, как перед самим собой, честно признаться, что он великий артист, а не великий телепат. Свой божий дар он использовал только для добрых дел. И лишь однажды вышло не так, как хотелось... Узнав о его необыкновенных способностях, люди приносили после войны фотографии родных и близких, пропавших без вести, и Мессинг «определял» их судьбу. Всегда говорил, что пропавший без вести жив. И родственники тех, кто действительно оказывались живы, делали Мессингу неимоверную рекламу. Ну, а остальные просто молчали.

Джону очень нравилась история с Мессингом. Нередко он просил, чтобы я пересказал ее при ком-нибудь. И вот сейчас, уверен, он не раз, наверное, вспоминал мои рассказы о встречах с «великим телепатом». Может, даже поверил, что и я возможно обладаю таким же даром. По крайней мере, мой последний вопрос привел его в восторг. Но вопрос этот я скорее рассчитал, нежели угадал. Он хотел узнать, сколько осталось до того самого дня, когда исполнится три месяца беременности у дочери, до двадцатого июня. На мой вопрос он жадно и нервно захлопал веками. Это означало «Да».

— Сегодня суббота, первое июня тысяча девятьсот восемьдесят пятого года...

— Джон Саакович, — вмешался в наш «разговор» Фоминых, — сегодня первое июня. Что это за день? Вы могли бы вспомнить?

«Да».

— Виктор Петрович, — сказал я, — давай попробуем дать ему альбом и фломастер. Он сейчас довольно бодрый. Пусть напишет нам.

Долго Джон готовился, чтобы начать свои упражнения с фломастером и бумагой. Мы с Фоминых предполагали, что сейчас на листе альбома нарисует детскую мордочку. Что-то вроде «точка, точка, запятая...». Ведь первое июня — Международный день детей.

Но никакого «человечка» он не нарисовал. Лишь коряво одно слово — Лия. Наверное первого июня родилась его жена. И скорее утверждая, нежели спрашивая, я сказал:

— Родилась Лия, или, как ее здесь все называют, Лилия.

По выражению лица больного я понял, что не угадал.

— Поженились с ней в этот день?

Он покачал головой.

Виктор Петрович сказал, улыбаясь:

— Небось впервые поцеловались в этот день.

Джон тоже улыбнулся.

Возвращаясь из палаты в кабинет, Фоминых рассуждал вслух:

— А ведь он очень даже хорошо знал, что первое июня — день защиты детей. Просто не хотел упростить задачу, которую мы ему задали.

— Тут, понимаешь не только это. Джон всегда с сомнением относился ко всякого рода «дням». Бывало, скажет: оскорбительно для женщин — один день. Им принадлежат все триста шестьдесят пять дней и ночей без исключения. Как, если бы ты знал, ему нравилась строка песни: «Когда поют солдаты — покойно дети спят». Вот ему и захотелось на наш вопрос ответить по-своему, что ли.

Из жизни уходил человек, который очень соответствовал своему времени. Он часто говорил: «Все мы плагиаторы, все мы компиляторы. Только и знаем, что произносим слова, которые кто-то до нас уже высказал. Кажется, сотворил свежую мысль, а потом выясняется, что точно такую же кто-то выразил куда четче, куда глубже, куда объемистее». Я уже говорил здесь о «Человеческих качествах» Аурелио Печчеи. В те дни когда Джон читал эту книгу, он все цокал языком: «Как излагает! Как точен этот самый Печчеи». И непременно добавлял: «Просматриваю свои записи, сделанные давно и недавно, и создается впечатление, что все уже было у меня».

Особенно любил Джон своими словами пересказывать главу «Глобальная история человека». «На протяжении своей жизни, — пишет Печчеи и вторит ему Киракосян, — ход истории решительно переменялся. Суть этих изменений в том, что за какие-нибудь несколько десятилетий завершился продолжавшийся много тысяч лет период медленного развития человечества, и наступила новая динамичная пора. Уже сегодня человек ошеломлен событиями, которые сами по себе свидетельствуют об этих переменах. Но тут вопрос в другом. Что ожидает его завтра, а тем более — послезавтра. И вообще, что век грядущий нам принесет? Там, за рубежом века, за рубежом второго тысячелетия, что ожидает человека — звездный час или пучина ужаса и зла? Если раньше человек был всего лишь одним из многих живых существ, обитающих на земле, то теперь он превратил ее в свою безраздельную империю. Любой культ ужасен. В том числе и культ человека. Вообще, что это за окружающая человека среда? Что это за термины? Человек есть сам составная часть этой среды. Чем могущественнее человек, тем больше ему грозит непоправимая катастрофа. Слишком жаден человек. Ах, как был бы он прекрасен, если бы смог отказать себе в прихоти и наслаждении! Если бы смог бороться со злом, не боясь синяков!..» Так Джон, начав с кого-нибудь, в данном случае с Аурелио Печчеи, переходил уже на самого себя и философствовал...

А как он любил узнавать новые идеи, новые сюжеты! Как-то я сказал ему, что собираю материалы о руководителе, который всегда говорит «нет». Я ему доказывал: такой руководитель довольно долго остается на своей должности. Несколько дней кряду Джон жил этой идеей. Все приводил какие-то примеры, готовые фразы, которые можно печатать, не редактируя. И всегда страстно утверждал, что куда безопаснее отвечать на поставленный вопрос «нет» или «нельзя». За это не несешь ответственности. Мы призываем человека к ответу, если он что-то кому-то разрешил. Разрешил, например, председателю колхоза самому определять сроки посева и уборки урожая. Приводил пример ученого-физика Гурзадяна, которому на все предложения отвечали «нет», не неся ответственности за те потери, которые следовали за отрицательным ответом. Лишь однажды ученому сказали «да», и он запустил в космос свою внеатмосферную обсерваторию, свой знаменитый «Орион», ставший, по выражению академика Амбарцумяна, вехой в отечественной космической астрофизике.

...Уходил из жизни человек, который любил и ненавидел человека за все его слабости. И нелегко было добиться, чтобы Джон объяснял свои противоречивые суждения. Нервничал, когда его не понимал собеседник. Джон не любил слабых людей. Они опасные предатели, трусливые и жестокие. Особенно опасно, когда слабый духом продвигается вверх по лестнице, ведущей в конце концов вниз.

Каждый раз, оставаясь один в моем одноместном номере, я думал, что сказать Лие, как мне быть естественным. Грешно об этом говорить, но подчас мне было тяжелее, чем Лие: мне приходилось играть роль оптимиста, оставаясь тем человеком, для которого Джон — друг. Отсюда и высокий слог и, может, непростительная идеализация образа. Игре моей помогла моя основная профессия врача-реаниматолога. Я уже не сомневался — звезда Джона угасала. Он, конечно, дотянет до двадцатого числа. Если бы относительная безопасность для дочери и будущего внука наступила только через полгода, конечно он протянул бы и этот срок. От него всего можно было ожидать. Одиннадцать академиков и профессоров каждый день после обхода и консилиума разводили руками, тщетно пытаясь скрыть друг от друга удивление. Отдавая должное профессиональному мастерству Фоминых и всей реанимационной службе, они не верили в происходящее — больной продолжал жить после смерти. Если есть феномен, то он в самом больном, который сам по себе является феноменом.

Я лежал на кровати в гостиничном номере и пытался разгадать этот феномен. Однако, осознавая тщетность подобного занятия, направился к Лие, стараясь показаться даже веселым. Час назад я был у них, рассказал о делах больного. Однако меня вновь стали расспрашивать о подробностях: о температуре, о давлении, о дыхании, и конечно о ногах.

— Расскажи, как он сумел тебе объяснить свое желание? — спросила Лия.

— Много своих желаний он уже сумел объяснить, — сказал я.

— Ты конечно преувеличиваешь. Но я хочу еще раз услышать о русском солдате.

— Я же рассказал об этом час назад.

— Тогда не все были здесь. Я хочу, чтобы они послушали. И я хочу услышать еще раз.

— Значит, так, — начал я, — Джон вопрошающе смотрел на меня, и я догадался, что он хочет, чтобы я что-то рассказал. Долго он мучился на сей раз. Ничего не выходило. Потом он

медленно свел руки вместе. Пальцы стали судорожно двигаться. Неожиданно я уловил имитацию движений, когда кремнем выбивают искорку. В любое другое время я вряд ли догадался бы, о чем идет речь, но само напряжение, сопереживание сотворили чудо. Джон много раз в присутствии разных людей просил рассказать притчу, которую поведал нам, школьникам, учитель истории много лет назад. Русский солдат взял в плен «языка» и повел в свою часть. Дорога длинная, захотелось солдату покурить. Свернул козью ножку и принялся выбивать кремнем искру, подставляя свернутую в трубочку вату. Мучился солдат долго, а немец, видя эту средневековую картину, вынул из кармана зажигалку, щелкнул и показался длинный голубоватый язык пламени. Русский солдат дунул раз, потушил пламя и опять начал терпеливо выбивать искру. Опять немец не вытерпел, вытащил зажигалку и щелкнул. Но солдат дунул и потушил. Повторилось то же самое в третий раз. Наконец, искра попала на вату. Сначала солдат подул нежно и тихо, потом сильнее. Затем сунул дымящуюся вату под нос немцу и приказал: «Дуй!» Тот дул до тех пор, пока не показалось яркое пламя. Солдат прикурил, сладко затаился и сказал: «Вот такие мы разные люди. Ты загораешься вмиг, но стоит дунуть, как след простывает от твоего огня. А мы, русские, не сразу загораемся. Но уж если переполнилась чаша терпения, то берегитесь. Не потушить нашего огня. Чем больше будешь дуть, тем сильнее пожар. Тогда берегись».

В тот вечер долго беседовали у Лии. Выписывали по телефону пропуска в гостиницу, и приходили все новые и новые люди, друзья Джона. Это был вечер воспоминаний о нем. Многочисленные рассказы прерывались многочисленными телефонными звонками.

Стояли жаркие московские дни. У меня просто страх перед московской жарой. Выше двадцати градусов уже трудно переносить. В такие дни я почему-то с особой жадностью вслушивался в прогноз погоды. Не выше восемнадцати. Однажды мы с Джоном провели три дня в Москве. Термометр на улице Горького напротив центрального телеграфа утром показывал двадцать девять градусов. Мы еле волочили ноги. Дышать было невозможно. За мороженым — километровая очередь. Такое же столпотворение у автоматов с газированной водой. В кафе-мороженое «Космос» очередь если не до памятника Пушкину, то уж до Юрия Долгорукого точно.

— Как, по-твоему, покончить с очередями? — спросил Джон.

— Если я скажу, что надо больше выпускать мороженого, то тебе мой ответ придется не по душе. Я же знаю тебя.

— Не хитри. Затягиваешь с ответом, чтобы найти наиболее банальный вариант. Я прав?

— Я бы объявил в Советском Союзе очередь вне закона....

Никогда не забуду тот день, тот миг. Джон, презрев духоту и состояние, как он говорил, вареной курицы, громко расхохотался. Кажется, вся многолюдная улица Горького обратила внимание на гиганта в промокшей сорочке. Продолжая смеяться, он сказал, что именно такой ответ пытался услышать. Именно объявить вне закона треклятую очередь, которая так сильно оскорбляет человеческое достоинство. Потом добавил посерьезнее:

— Вот о чем нужно писать. Но писать с чувством ответственности, даже, я бы сказал, с чувством серьезности...

Но пока я не написал такой статьи, не выполнил просьбы друга, вернее, его социальный заказ. Хотя, честно говоря, никогда не забывал об этом заказе. И в эти жаркие московские дни я вновь вспомнил ту нашу прогулку по улице Горького.

В палате свой микроклимат, параметры которого запрограммированы Виктором Петровичем с помощью компьютера. Больной не ощущал наружной духоты. Ему хотелось только одного — общения. И вновь прибегали к услугам бумаги и фломастера. Сейчас у меня на столе лежит альбом с исписанными листами. Многие странички выпали еще в больнице, некоторые вообще затерялись. Кто тогда мог подумать, что эти листы могут стать своего рода реликвией. Чаще всего «разговор» начинался с вопроса: «Какое сегодня число?» или «Какой сегодня день?». Это звучало как «Доброе утро», «Здравствуйте». Иногда, подолгу глядясь в лица врачей и сестер, он писал корявыми буквами: «Спасибо. Я вас всех очень люблю». «Я всех уважаю. Трудно вам со мной?»

Скоро я по делам вылетел в Ереван. И вновь с Арманом. На следующий день Джону принесли тутовые ягоды. Он попробовал и написал в альбоме: «Тутовые ягоды — это бог моего друга. Он может их есть ведрами». И, написав мое имя, вывел потом: «Хочу абрикос». Я всматриваюсь в записи и опять вижу Джона. Даже в них он остался верным самому себе. Великий гурман, любивший застолье, всякие вкусности, он часто писал о том, что хочет поесть, но поесть по-человечески, сидя. Да чтобы

обед приготовила родная сестра Джемма. И непременно чтобы была жареная картошка.

...Как бесился Джон, когда жена и сестра, посетив его, молчали! Догадывался, что его вид не вызывает оптимизма, и родные женщины едва сдерживают себя, чтобы не разрыдаться. Именно поэтому он не очень хотел, чтобы они приходили к нему. Да и Фоминых был в этом вопросе на его стороне. Случалось, Джон с какой-то нескрываемой злостью писал в альбоме по-армянски: «Раз пришли, то говорите что-нибудь, не молчите». Правда, теперь мог что-либо прочитать только я. И потом, словно извиняясь, задавал вопрос, который вряд ли в другое время задал бы женщинам: «Как сыграл “Арапат”?»

В один из дней я вошел в палату в тенниске. Халат обычно надевал в самой палате. Джон перевел взгляд на залитое солнцем окно, и я догадался: он хочет спросить о погоде. Я сказал, что всякий раз, когда в Москве жарко, в Армении очень прохладно. Прямо какая-то закономерность. Третьего дня у нас был сильный град.

Я сказал правду. От сильного града пострадали виноградники и фруктовые деревья. Я и не сомневался, что после такого сообщения Джон захочет узнать о своем саде-огороде в Егварде. Он так носился со своим садом, что ни о чем другом говорить не хотел. Своими руками посадил все деревья и знал, бывало, число яблок или груш, персиков или абрикосов на том или ином дереве. И, разумеется, сообщение о граде не могло пройти мимо ушей. Я его успокоил.

— Град прошел большей частью стороной. Сад твой не задел. Я тебе уже говорил, что за ним ухаживают твои друзья, подрезают ветки, поливают деревья и огород. Мы еще с тобой искупаемся в твоем бассейне, как в прошлом году. Помнишь, мы вместе бросились в воду и бассейн опустел чуть ли не на половину?

Джон улыбнулся, и в глазах появилась ирония: «Мол, сам знаешь, что не увижу я больше посаженные мной деревья, никогда не искупаюсь в моем бассейне». И когда он потребовал альбом, уже точно знал, что непременно напишет свое неизменное: «Какое сегодня число?» Я мог, бы, конечно, не мучить его, сказать: сегодня пятнадцатое июня. Но не хотел этого делать. Не было сомнения: он думал сейчас только о дочери. Нет никакой телепатии в жизни, есть только сама жизнь. И есть, наверное, у каждого друг, чья земная жизнь — открытая книга...

Чем ближе трагический день, который упорно и упрямо давал о себе знать, тем чаще я перелистывал историю болезни друга. И каждый раз приходил к выводу — ошибок совершили ворох. Не хочется подвергать анализу каждый шаг, особенно вначале. Но никак не могу забыть самонадеянности моих коллег. Не знаю, может, и я был таким, когда врачевал днем и ночью на краю света. Со стороны виднее. Как все-таки прав мудрец: «Нет ничего страшнее, чем самодовольный оптимизм». Не хочется анализировать еще и потому, что в повести о друге нужно говорить о вещах, достойных самого человека. О самой истории болезни я как-нибудь расскажу в печати. Любой урок должен пойти впрок. Даст бог, поеду в Америку, постараюсь увидеться с волшебником-хирургом Майклом Дебейки и поговорю о диагнозе, который сейчас медленно, катастрофически ведет нас к трагедии.

Вспоминаю, как уже смертельно больной Джон читал незадолго до операции в каком-то английском журнале рассказ американского писателя Роберта Силверберга «Торговцы болью». Читал и переводил вслух абзацами. Мы слушали и рассказ писателя, и комментарий историка. Сюжет рассказа необычный, страшный.

Телевизионщики, чтобы удовлетворить тележажду зрителей, решают показать на экране хирургическую операцию на живом человеке, и конечно без анестезии. Гонорар получают родственники больного, которые, по сути, торгуют болью. Но зрители конечно этого не знают. Они только видят, как умирает чужой для них человек. Они видят своими глазами чужую боль, которую не хотят разделить. Они видят бой гладиаторов без самих гладиаторов, видят садизм под личиной борьбы за здоровье человека.

Далее по сюжету один из родственников стреляет в упор в режиссера, который, держась за живот, просит, умоляет, чтобы ему оказали помощь. Но стоявший рядом ассистент был человеком слишком предприимчивым, да еще таил личную обиду на своего шефа. В присутствии умирающего он звонит в студию: «Срочно пришлите телефургон. У меня есть товар». Умирающий страдает еще и от того, что станет героем другой конкурирующей программы.

Отложив журнал в сторону, Джон сказал:

— Мир погибает от искусства, которое активно пропагандирует насилие. Но оно тоже отражает действительность. Черт с ними, с нашими издержками, с нашими подчас тщетными

поисками лучших путей экономического развития. Здорово, что у нас насилие объявлено вне закона, активно пропагандируется добро. Хотя, честно говоря, примитивна эта самая пропаганда. И дает она нередко обратный эффект. Но и это не страшно — поумнеем когда-нибудь. Настанет день, когда серая литература будет под запретом. Она должна быть вне закона, как очередь.

— Когда наступит такой день?

— Непременно настанет. И это, пожалуй, самое главное.

— И что же будет тогда? — спросил я.

— А ничего особенного. Просто мы не будем играть роли правдолюбцев, а будем правдолюбцами. Мы будем уверены, что бездарь не поднимется по служебной лестнице, невежда не станет академиком, а талантливый ученый Григор Гурздян, выдавший на-гора за последние пять лет капитальные монографии, которые перевели на разные языки, будет непременно избран в академики.

— Кстати, звонил Гурздян, справлялся о твоём здоровье. Недавно для журнала «Гарун» он подготовил интересную публикацию. Называется «Наука. Искусство. Язык. Культура». Серьезный философский труд. Раздумья нашего современника о тех важнейших началах, без которых нет не только самого человека, но и будущего планеты, цивилизации. Григор считает, что споры о том, какой народ наиболее древний — это чьи-то претензии на чужую территорию, чьи-то патологические амбиции. Есть наука, которая точно определяет, какой народ в веках оставил не только след, но и наследство в общечеловеческой культуре, архитектуре, искусстве, философии. И что это наследие выходило за пределы собственной страны, чтобы оно действительно стало общечеловеческим достоянием. Любой ученый, пытающийся приписать чужое своему народу, оскорбляет достоинство прежде всего своего народа. Варваров нельзя называть народом. А варварское правительство и варварская идеология — это еще далеко не народ, подобно тому, как фашизм не был немецким народом.

— Как счастливо сочетается в Гурздяне крупный ученый-астрофизик с талантливым художником, настоящим философом. По своей сути он истинный интеллигент. Передавай ему мои приветы. И скажи — я верю в его звезду.

— Он сейчас работает над новой моделью космической обсерватории, которая сможет снимать на пленку одновременно множество звезд.

- Значит, я верю не в звезду Гурзадяна, а в его звезды.
- Джон, ты только не маши рукой.
- Ага, хочешь сказать что-то такое, чего я не приму, и боишься, — улыбнулся он.
- Я хочу сказать, что верю в твою звезду.
- Рукой не махну, раз предупредил. Но сам ты не веришь себе, своим словам.
- Операция пройдет успешно. И все будет хорошо.
- Видишь ли, если даже случится самое плохое, я все равно верю в свою звезду. У каждого на небе есть своя звезда. Есть и у меня. Свет ее долго не погаснет...

Разговор этот произошел за несколько дней до операции. И, перелистывая мысленно страницы истории болезни, я не хотел замечать ошибок медиков. Мне виделся свет звезды, который еще долго будет ослеплять глаза фальсификаторам всех мастей.

В пятницу поздно вечером позвонил Фоминых. Трубку взял Арман.

В комнате воцарилась тишина. Скромный, застенчивый, мощный Арман стоя слушал лечащего врача. Фоминых передавал ему обычную, стандартную информацию о больном. И в конце попросил, чтобы трубку передали мне. Пока я говорил с Виктором, все окружили Армана, и тот возбужденно передавал им слово в слово информацию врача. Мне же Виктор сказал, чтобы, не выдавая себя, я улучил момент, придумал что-нибудь и выехал в больницу.

Так я и сделал. Набрал по телефону шестизначный номер, чтобы гудков не слышали, поздоровался с фальшивым абонентом и сказал, что через десять минут мы встретимся у последнего вагона метро станции «Проспект Маркса». Уточнил, что речь идет о поезде, идущем в сторону «Библиотеки Ленина», а не «Дзержинской». Потом попрощался с присутствующими до шести часов утра.

Я ехал к Фоминых, чувствуя тяжесть в груди. Так просто он не пригласил бы меня на ночь глядя. Однако самое худшее отбросил. Не мог же он сказать сыну «параметры прежние», если бы случилось самое худшее. Но без сомнения на горизонте появилась еще одна беда. Так всегда бывает у тяжелых безнадежных больных.

Широкий Кутузовский проспект был свободен от привычного потока машин. Мы мчались на бешеной скорости. Справа оставили панораму Бородинской битвы, слева — Три-

умфальную арку. Показались ночные огни строящегося мемориального комплекса на Поклонной горе. Вышли на ровную дорогу, проложенную в лесу. Вспомнил, как однажды Джон признал тост, вернее, сам себя цитировал: «Мечтатели часто умирают в момент осуществления своей мечты, тем самым приближая цель». То есть он опять говорил о жертве, об осознанной смерти, которая превращается в бессмертие. О том, что за высокую мечту надо платить высокую цену.

Я ехал к лечащему врачу. Я мчался к другу. И передо мной мелькали не только огоньки, но и лица тех, кто находится сейчас в гостинице и ждет моего возвращения. Мне только казалось, что я их обманул, провел. Уж кто-кто, а Лия непременно догадалась о моей хитрости. Я видел перед собой в темноте лицо Лии и думал, как жизнь свела ее и Джона вместе. Словно и не могло быть иначе. Только вместе, только бок о бок. Женщина, готовая без колебаний отдать сердце мужу только ради того, чтобы он жил. Мать, которая исстрадалась от сознания, что у дочери не будет детей. Такой суровый приговор вынесли врачи. Но мать не поверила врачам. Шесть лет она возила дочь к дипломированным и недипломированным специалистам, боролась за будущее дочери. При муже старалась вести себя спокойно, а при родных и близких, случалось, рыдала.

Теперь я мчался к угасающему Другу, который уже решил спокойно умереть. Я знаю, он, конечно, вбил в голову это самое двадцатое число. Двадцатое июня. Он поверил, что трех месяцев беременности достаточно, чтобы спасти жизнь будущего внука, который станет продолжением жизни своего умирающего деда. По всем законам природы уже через неделю-другую самостоятельно заработает сердце плода. Какое-то время сердце еще не умершего деда и сердце еще неродившегося внука будут биться синхронно. Однако звонок Фоминых внушал тревогу. Неужели раньше времени?! Не может быть. Я уже говорил, что смерть чаще всего наступает утром, особенно если она связана с сердцем. И тому есть научное обоснование. А сейчас поздний вечер или, скажем, ранняя ночь. До утра далеко. Все «продумано» до мелочей у ее величества Эволюции, которая «сотворила» в живом организме сразу две нервных системы: симпатическую и парасимпатическую. Плюс и минус. Самопроизвольные приступы стенокардии или инфаркта чаще всего происходят ночью. То есть именно тогда явно преобладает тонус блуждающего нерва.

Часто можно слышать, как имярек лег спать и не проснулся, умер во сне на рассвете. Ученые в таких случаях выражаются куда суше: «Смерть наступила в четыре часа по той причине, что активация парасимпатического нерва сопровождалась спазмом коронарных артерий». Но до четырех часов утра было далеко.

Фоминых сидел за своим рабочим столом и что-то писал. Увидя меня, он спокойно спросил:

— Чай поставить?

— Ты меня пригласил, чтобы угостить чаем?

— Ты же знаешь, я завариваю очень вкусный чай.

— Как он?

— Плох.

— Что-нибудь случилось?

— Старая история. Как только приходит в сознание, все цифры подсакаивают. Особенно давление. Ничем не могу сбить. Жуткая гипертония. Как он жил до сих пор, не знаю.

— Он писал книги, держась рукой за голову, которая трещала от боли.

— Не могу я постоянно вводить ему лекарства. Но стоит замешкаться, как давление подсакаивает выше двухсот. Повторяю: искусственная аорта выдержит любое давление, но все остальное — живая ткань. Где-то в другом месте прорвет.

— Хирург пел гимны французскому клею. Места стыков зацементированы надежно.

— А дальше? А ниже, к брюшной аорте?

— Как он сейчас?

— Спит. Но придет в себя, забудет, о чем спрашивал час назад, и на бумаге выведет: «Какое сегодня число?»

— Осталось два дня, — сказал я.

— Да.

— Дай мне что-нибудь от сердца.

— Валокордин годится?

— Все годится. Знаешь, Виктор, я сегодня останусь здесь, подежурю за тебя. А ты за меня поедешь в гостиницу. Я уже не могу, боюсь встречаться с Лией и Арманом, видеть Нуне. Не вытерплю сегодня. И врать не могу, и правду не скажешь.

— Ты же врач.

— Друг я, а не врач. Я тоже повторяюсь — умирает друг, а не пациент. У меня такое впечатление, что он не умирает, а предает. Иногда даже злюсь, мол, как ты так можешь. Пахаря можно заменить, врача можно заменить, космонавты подьез-

жают к старту вместе с дублерами. Но друга никто не заменит. Как же он может так поступать? Он все делает по-джоновски: намечено уйти из жизни двадцатого числа — и никаких гвоздей. Через сорок восемь часов. Еще через три дня похороны. Значит я буду присутствовать на собственных похоронах: своей смертью он убивает и меня. Я без него, может, не напишу своей главной книги, перестану быть самим собой. Значит я умру вместе с ним...

Зазвонил телефон. Фоминых взял трубку и тотчас же ответил: «Идем». Минут пять Фоминых провозился у аппарата искусственного дыхания, дал какую-то команду сестре Светлане, подошел к больному и громко произнес:

— Джон Саакович.

Больной как-то испуганно приоткрыл глаза, посмотрел по сторонам и остановил взгляд на враче. Зашевелил губами, показал руками, что хочет писать. Светлана поднесла ему альбом и фломастер. Вначале ничего не получалось. С каждым днем он писал все хуже и хуже. Забегая вперед, скажу, что самая последняя запись в альбоме, который хранится у жены: «Я еще слаб». В тот же день предпоследняя запись — мое имя. Накануне: «В течение дня сто раз говорите Джон Саакович». «Перед этим: «Холодно». Еще раньше: «Хочу “Джермук”». Ему показали три бутылки минеральной: «Джермук», «Дилижан», «Арагат». На сей раз он показал опухшими пальцами на «Арагат».

Джон так и не смог выразить в альбоме свою мысль, свою просьбу. Я пристроил лист на дощечке, и он вывел: «Где мои вещи?»

— Они здесь, — сказал Фоминых. — Вы же просили оставить.

— А что тебе нужно из вещей? — спросил я.

Он зашевелил губами. Глаза были усталые, печальные.

— Я знаю, что там не только одежда, но и твоя плоская папка.

Он попытался улыбнуться.

— Тебе нужна эта папка? — спросил я.

«Да».

— Я сейчас принесу, — сказал Фоминых. — Только мне надо позвонить из кабинета.

Фоминых ушел. Я измерил давление: сто восемьдесят на сто десять. Джон вопросительно посмотрел на меня. Хотел узнать цифры давления.

— Сто сорок на девяносто. Хорошее давление, — соврал я. — Ты согласен со мной?

«Да». — А я ведь знаю, что в папке. Все материалы о последних выступлениях военных и гражданских руководителей Турции после переворота. Я прав?

«Да».

— Ты хочешь мне что-то показать?

«Да».

— Выступление Эврена в Ване?

«Нет».

— Карту, которую опубликовали главари хунты и обязали по ней проходить урок географии в школах?

«Да».

— Пока ты был в больнице, достал новый материал?

«Нет».

— Перед операцией успел написать?

Джон явно был доволен моей догадливостью.

— Ты начал ту статью, о которой говорил?

В ответе его я прочитал и «да» и «нет», и, чтобы не гадать, сказал:

— Ну ладно, малость отдохни, сейчас Фоминых принесет папку. Ты что-то еще хочешь спросить?

«Да».

— О ком-то?

«Да».

— Ну не?

«Да».

— Видишь ли... У нее все в порядке, но...

Пulsь резко подскочил вверх. Хотя, я понимаю так нельзя говорить о пульсе. Но на электронном табло сразу же показались новые цифры, которые вскоре перешли в трехзначные. Я догадался, что виной тому было мое неосторожное «но».

— Ты меня неправильно понял. У нее все нормально. Просто она очень страдает. Ведь она более всех в неведении: к тебе мы ее пока не пускаем. Правильно мы делаем?

«Да».

— Ну и переживает, тонкая натура, тонкая душа. Тебе надо быть молодцом. Все в твоих руках...

Цифры пульса не падали. Я, кажется, не туда греб, как у нас говорили на флоте. Но, видит Бог, все началось как-то естественно. А теперь он спорил со мной. Мол, ты же, дорогой врач,

такой-сякой, говорил, что главное — это первые месяцы. Вот я и выдержал, выдюжил два долгих месяца. Мол, пожалейте меня. Не могу я больше.

— Я понимаю тебя, мой дорогой. Но отчего ты вспылал? Успокойся. Не буду говорить, пока пульс не вернется к исходному рубежу. Ты хочешь спросить, какой был исходный рубеж и какой сейчас?

«Да».

— Пожалуйста. Было восемьдесят, а сейчас сто три. Меня после этого в три шеи надо гнать отсюда. Ты хочешь сказать «ничего подобного»?

«Да».

— Пока ты не улыбнешься, диалог не возобновится. Вот Светлана свидетельница. Вы согласны, Светлана? — обратился я к палатной сестре.

— Согласна. Конечно, согласна.

На табло показались новые цифры: круглая сотня, девяносто девять. Наконец сразу девяносто шесть. Появился Фоминых с коричневой папкой в руках.

— Вы это просили, Джон Саакович? — спросил он, запыхавшись.

«Да».

— Я, Виктор Петрович, запретил ему говорить, пока пульс не снизится до восьмидесяти.

— А что тут было? Подрались, что ли, без меня?

— Кричал он на всю палату, — сказал я.

Пульс возвращался к норме прямо на глазах. Джон с жадностью смотрел на папку, стараясь скрыть волнение.

— Ты хочешь, чтобы я достал бумаги?

«Да»

Я доставал лист за листом, читая вслух заглавия или первые строки. Он равнодушно смотрел на меня. Я громко произнес:

— Карта. «Турецкая империя».

Историк головой дал понять, чтобы я показал карту Фоминых и Светлане.

Я показал. Мы смотрели молча. Турцией «является» все болгарское и советское побережье Черного моря, вся Центральная Россия до Новгорода. И далее на Восток через весь Урал, Сибирь до Ледовитого океана. Ну, и, конечно, переписаны все географические названия. Нет ни Волги, ни Урала. Закавказских республик вообще нет. Есть просто новаяявленная империя. А Татария — Казанская Турция. И так далее и тому подобное.

Я обратил внимание, что ни Фоминых, ни юная Светлана не верили собственным глазам. Словно сговорившись, оба одновременно выдавили из себя: «Как так можно?!»

Пока мы рассматривали этот явно провокационный документ, я время от времени поглядывал на Джона. Он смотрел на нас как бы с укором, мол, такие дела творятся под боком у нашей страны. Я догадался: ему хочется рассказать в деталях, о том, какую цель преследует тюркизм. Я продолжал доставать бумаги из папки, поглядывая на больного, чтобы узнать, на каком листе необходимо остановиться. И как только извлек из папки машинописный лист, исчерканный синими чернилами, Джон кивнул головой. Я начал читать: «В свое время мы с непростительным пренебрежением относились к провокациям фашистов, печатавших географические карты «Тысячелетнего Рейха». Строго соблюдая все принципы и законы международных отношений, не вмешиваясь во внутренние дела других стран, мы все же не можем обойти молчанием провокационные выпады руководителей натовских государств против Советского Союза. Недавно Бейрутская газета «Аль Сафи» напечатала публичное выступление турецкого правительства, в котором, в частности, говорилось: «Мы можем и должны изменить расстановку сил в мире, если наши американские союзники примут во внимание такой аргумент, как восемьдесят семь миллионов турок, проживающих в СССР». В Советском Союзе нет турок. Речь, как можно догадаться, идет о религиозной причастности тех или иных народов нашей страны, составляющих сегодня, как говорится, единую общность. Однако мы не имеем права упускать из виду тот факт, что на средства США и НАТО сейчас проводится активная пропаганда идей воинственного пантюркизма, которые, безусловно, проникают на территорию Советского Союза. Вот почему сегодня, как никогда, мы должны вести контрпропаганду, вести неустанную борьбу против фундаментализма, который в руках империалистов является орудием не столько религиозным, сколько политическим».

На этом запись прерывалась. Я знал, что Джон готовился писать обстоятельную статью, вооружившись богатым фактическим материалом. Не успел. Я смотрел ему в глаза и в какой-то миг поймал себя на том, что думаем мы оба об одном и том же — он теперь никогда не закончит свой труд. А таких неоконченных работ останется в его столе целая гора. Этот человек, лежащий сейчас в буквальном смысле слова на

смертном одре, ни одного дня не жил для себя. Даже два месяца, которые он живет после смерти, принадлежали не ему, внуку.

Джон смотрел на меня, будто читая мои мысли, и старался улыбнуться. Он был очень слаб. Но спокоен за свое дело, за будущее, за своего внука.

Джон умер рано утром двадцатого числа. Двадцатого июня. Если бы даже сам бог спустился на землю, он не смог бы ничего поделаться. Не смог бы прибавить к этой неповторимой жизни ни единого дня. Сам человек не согласился бы. Джон так решил. Жизнь, сказал бы он, — искусство. А искусство — это прежде всего чувство меры.

...До самого Еревана мертвую тишину в салонах огромного Ил-86 нарушал лишь мерный гул двигателей и прерывистые стоны Лии. Самолет совершал посадку, тело Джона вернулось домой. Никто из пассажиров не встал с места, пока родные и близкие покойного не спустились по трапу. К борту подкатило несколько машин. В первую очередь усадили в машину Лию. Но не успела за ней закрыться дверь, как подошел нелегкой походкой седовласый старец, который летел с нами в одном самолете. Он наклонился к Лие, взял ее руку и тихо сказал:

— Чтоб я взял твою боль себе. Цавыт танем.

Умер Джон в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году. Родился Джон в тысяча девятьсот восемьдесят пятом году. Нуне стала матерью.